

Жизнь и смерть самого влиятельного художника XX века

Горький

БИОГРАФИЯ



75
ИЗДАНИЙ
В США

Виктор Бокрис

Автор культовых биографий*

18+

✻ ✻ ✻ ✻ **ВПЕРВЫЕ** ✻ ✻ ✻ ✻

*Лу Рид, Патти Смит, Мухаммед Али, Уильям Берроуз, Кит Ричардс, Блонди...

Новая биография

Виктор Бокрис

Уорхол

«РИПОЛ Классик»

1989

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)6

Бокрис В.

Уорхол / В. Бокрис — «РИПОЛ Классик», 1989 — (Новая биография)

ISBN 978-5-386-12402-1

Биография Виктора Бокриса погружает в мир основателя поп-арта. В ней жизнь Энди Уорхола предстает коллажем встреч, художественных придумок, влюбленностей, творческих успехов, бизнес-проектов, трагедий – такой, какой ее прожил сам художник и какой ее запомнили его близкие и враги, любовники и ненавистники. Здесь множество правд и голосов – всех тех, кто оказался в уорхоловской орбите, кто потруился на его «Фабрике» и над его кинокартинами. Но они лишь хор, усиливающий сольную партию, принадлежащую самому Уорхолу.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)6

ISBN 978-5-386-12402-1

© Бокрис В., 1989
© РИПОЛ Классик, 1989

Содержание

Благодарности	6
Случаи в Гонолулу	7
Корни «славяшки»	10
Рабы Питтсбурга	20
Образование Энди уорхола	35
Любимчик класса	42
Глазами меня целуй	56
Странная парочка	69
Все у него замечательно	81
Ну и что?	88
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Виктор Бокрис

Уорхол

Книга посвящается всем Энди в ней

Немногие видели мои фильмы или картины, но вдруг хоть эти немногие, которых заставили задуматься о самих себе, станут более сознательно относиться к жизни. Людям лучше понять, что необходимо работать над ее познанием, потому что жизнь так коротка и порой проходит слишком быстро.

Энди Уорхол

VICTOR BOCKRIS

Warhol

Перевела с английского Л. А. Речная

© Victor Bockris, 1989. All right reserved

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

Благодарности

За вдохновение, поддержку, идеи и веру в эту книгу мне бы хотелось в первую очередь поблагодарить Эндрю Уили, Джеффа Голдберга, Бобби Бристоля, Барри Майлза, Джерарда Малангу, Стеллана Хольма, Стива Массы, Джона Линдсея, Ингрид фон Эссен и Эльвиру Пик.

За оказанное мне доверие я хочу поблагодарить всех интервьюированных для книги, столь щедро поделившихся собственным временем, в особенности Пола Вархолу, Джорджа Вархолу, Джона Вархолу, Маргарет Вархолу, а также Энн Вархолу, Билли Нейма, Ондина, Джона Джорно, Натана Глака и Ронни Тавэла.

За эмоциональную поддержку, заботу и помощь в течение пяти с половиной лет работы над книгой я хочу поблагодарить Прайса Эббота, Сюзан Аарон, Легса Макнила, Терри Биннса, Марсию Резник, Рика Блума, Джефффри Фогеля, Отиса Брауна, Джо Фидлера, Кима Чермака, Гизелу Фрайзингер, Дебби Харри, Криса Стейна, Дункана Ханну, Борегарда Хьюстона-Монтгомери, Карен Мандельбаум, Розмари Бейли, Стюарта Майера, Кристофера Вента, Клода Пелью, Мэри Бич, Дэвида Розенбаума, Терри Селлерса, Терри Сперо, Мириам Юдович, Марианну Эрдос, Сюзанну Купер, Хелен Митсайос и Лизу Стелль.

Спасибо за науку Уильяму Берроузу, доктору Джеймсу Фингерхату, Винсенту Фремонту, Аллену Гинзбергу, Лу Риду, Реймонду Фою, Алберту Голдману и Полу Сайди.

Джефф Голдберг сыграл существенную роль в сборе и редакции рукописи на четвертом году работы над ней.

Случаи в Гонолулу 1956

*Думаю, как взглянешь на эмоции под определенным углом, никогда
больше всерьез их воспринимать не сможешь.*
Энди Уорхол

К весне 1956 года Энди Уорхол был на пике своей карьеры в рекламе. В свои двадцать семь лет он стал самым знаменитым и высокооплачиваемым модным иллюстратором Нью-Йорка, зарабатывая до ста тысяч долларов в год и выставляясь, помимо того, в уважаемой галерее. Или, как он сам себя описывал во внутреннем указателе на обложке Vanity Fair, был «признанным молодым художником, чьи картины висят в галереях, музеях и частных коллекциях, чей список постоянно пополняется». Журнал Women's Wear Daily прозвал его Леонардо да Винчи с Мэдисон-авеню. Наконец-то он стал встречать многих, с кем прежде жаждал познакомиться, включая Сесила Битона, чьи ступни однажды нарисовал, в Филадельфии, и актрису Джули Эндрюс, яркую и очаровательную звезду гей-тусовки. И он был влюблен в лощеного обеспеченного молодого выходца из Кентукки Чарльза Лисанби, придумавшего декорации к The Garry Moore Show, одной из самых популярных телепрограмм. Энди, осознававший, насколько реклама станет важна на телевидении, был фанатом телевизора. Все у него было замечательно.

Но на протяжении всей его жизни, стоило только обстоятельствам, казалось бы, складываться для Энди хорошо, как неожиданно возникала беда, угрожавшая всему, что с таким трудом удалось достичь. Энди был так влюблен в Чарльза, что их отношения становилось в определенной мере тяжело поддерживать.

Чарльз Энди обожал, но не в том смысле, в каком тот любил его, у них ни секса, ни поцелуев, ничего такого не было. Чарльз вполне себе понимал, чего от него хотят, но сам не хотел того же, и Энди знал, что тот не хочет, так что и не заикался. Только все несколько усложнялось тем, что Энди требовалось много внимания, и он начал действовать Чарльзу на нервы, как, по крайней мере, считал его арт-дилер, бывший в курсе этого романа. В целом Уорхол придерживался мнения, что все как-нибудь само разрешится со временем.

Ему подумалось, что подвернулся тот самый случай, когда Чарльз обмолвился, что планирует летом путешествие на Восток, чтобы познакомиться с азиатским искусством, и поинтересовался, не хочет ли Энди поехать. Энди воспринял затею очень беззаботно. Суеты не разводил, но к их отъезду 19 июня 1956 года будущая поездка разрослась до кругосветного путешествия (в том же году вышел фильм «Вокруг света за 80 дней»). Идея сама весьма романтическая, и можно себе представить, каково было Энди в кресле 8А салона первого класса самолета Japan Airlines, направлявшегося в Токио через Сан-Франциско и Гонолулу, с Чарльзом по соседству.

Его надежды потерпели крушение практически сразу. На второй день поездки у Чарльза и Энди случилась перебранка в номере отеля в Гонолулу. Энди распорядился, чтобы в Сан-Франциско у них были отдельные номера, а по приезде в Гонолулу Чарльз сказал: «Глупость какая!» – и взял им общий номер с двуспальными кроватями с видом на пляж. Время было около трех пополудни. Чарльзу хотелось напрямик пойти на пляж и оглядеться, но Энди, заметно утомленный перелетом, отказался. Стоило Чарльзу оказаться на пляже, как он повстречал необыкновенно красивого юношу, рассказавшего замечательную байку про то, как ему будто бы пришлось снимать по солдату каждый день, чтобы содержать семью, и после короткого разговора Чарльз предложил тому подняться в номер, чтобы сделать несколько фотографий. Пока они с юношей шли по коридору отеля, Чарльз все надеялся, что Энди куда-

нибудь ушел, понимая, что ситуация патовая, если тот на месте. Обнаружив, что забыл ключ, Лисанби постучал в дверь.

Последовала долгая пауза, а потом, украдкой, сквозь цепочку выглянул Энди. Чарльз сказал: «Энди, открой, мы...»

Энди снял цепочку и отступил на полшага, перекрывая проход, и спросил: «Кто этот?.. Что ты творишь?!» И вдруг впал в неистовство, завопил: «Какты смеешь сюда кого-то водить?!» – и занес обе руки, чтобы обрушить их на Чарльза.

«Энди, прекрати! Успокойся! – кричал Чарльз и хватал его запястья. – Хватит!»

Энди провопил: «Как ты посмел? Убирайся и назад не возвращайся!» – отступив, захлопнул дверь.

Выбитого из колеи произошедшим Чарльза легенда парнишки интересовала-таки больше, чем неконтролируемая вспышка ярости Энди, так что Лисанби привел юношу с собой в другой отель и все оставшееся до вечера время поил его экзотическими напитками, а к себе вернулся только около семи вечера.

Ключа у меня так и не было, а открывать он не станет. Я крикнул: «Энди, я знаю, что ты там, так что лучше открой, чтобы я зашел и взял ключ!» И тут наконец дверь открылась. Энди сразу ушел обратно в номер и осел, поникший, на кровать со словами: «Я хочу вернуться домой. Нет смысла продолжать».

Он уже не вел себя агрессивно. Совсем замкнулся, пытаюсь сделать вид, будто ничего и не произошло, игнорировать меня и вообще выбросить все из головы. Я себя чувствовал очень виноватым. Я очень хотел оставаться его другом, не хотел, чтобы он обижался на меня или даже ненавидел. Я не хотел терять Энди. Я сказал: «Да нет, мы продолжим. Ты столько уже сделал, и я не позволю тебе отступить». Я очень переживал, потому что для человека, очевидно, это была настоящая пытка, и понял, что конфликта не миновать. Он хотел, чтобы его уговаривали продолжить и чтобы я *уступил* и сам пришел к мысли, что вот он тот самый момент, когда все и должно случиться, а мне надо было как-то выкручиваться.

Помню окна и океан за ними. Еще не закат, но дело к нему шло. Помню, сижу рядом с ним, обхватил его руками и стараюсь утешить, а он совсем на рыдания перешел, и только хуже делается, ему уже не остановиться. Он совершенно не мог прекратить истерически всхлипывать и рыдать на постели. Все потому, что не хотел быть один. Энди всегда хотел находиться в своем собственном мире, но чтобы кто-нибудь делил его с ним.

Я знал, что он влюблен в меня, но он таки произнес тихим, дрожащим голосом: «Я люблю тебя». Я сказал: «Я знаю, Энди, и тоже тебя люблю». А он: «Это не одно и то же».

И я ответил: «Я знаю, что не одно и то же, уж пойми как-нибудь, но и я тебя люблю».

В тот вечер они не выходили. Чарльз заказал ужин. Энди ничего не хотелось. На другое утро Энди вел себя так, будто ничего не произошло. В полдень он сделал несколько фотографий Чарльза в плавках на пляже возле отеля. Прежде чем вечером они отправились в Токио, Чарльз дал понять, что больше подобных противостояний быть в поездке не должно. Сцена была весьма необычная, как он вспоминал. Никогда прежде он не видел Энди, пылающего такой яростью, – тот аж в драку лез, – и впоследствии его таким тоже не видел.

По мнению Чарльза, Энди окончательно отошел от инцидента, стоило Гавайям скрыться из виду, они прекрасно провели время в путешествии по Дальнему Востоку через Японию, Индонезию, Гонконг, Филиппины, завершив его на Бали. Энди показал себя туристом храбрее

Чарльз: отказался покинуть ресторан во время небольшого землетрясения, раз местные не уходили; бесстрашно проехал над глубоким ущельем по узкому мостику, пока Чарльз был в ужасе; стремился перепробовать всю местную кухню... Вот только оказался абсолютно непрактичным. Попросту отказался нести хоть какую-то ответственность за организацию чего-либо, и Чарльзу пришлось заботиться обо всем, неизменно испытывая на этот счет раздражение.

Энди, понятное дело, постоянно рисовал. Чарльз фотографировал и снимал на 8-миллиметровую пленку. Кое-где они выглядели парой весьма экзотической. Посещая гей-бар в Японии по рекомендации врача Лисанби, бывавшего там при Макартуре на службе, они попали в окружение услужливых подростков. И глубоко в балийских джунглях, посреди ночи, на традиционном танце молодых девушек оказались единственными белыми. Как заметил Чарльз, Энди вроде бы получал удовольствие от всего, но держался в стороне от непосредственного участия в мероприятиях, предпочтительнее переживая их посредством Чарльза, который танцевал и с девочками, и с мальчиками и включался в любое действие за него.

В своей лаконичной манере Энди коснулся сути происходившего двадцатью годами позже, комментируя поездку:

«Прогуливаясь по Бали, я увидел группу людей на полянке за празднованием, потому что кто-то ими очень любимый только что умер, и я осознал, что все именно так, как предпочитаешь о том думать. Порой люди позволяют одним и тем же проблемам годами делать их несчастными, пока не скажут им „ну и что“. Это одна из моих любимых фраз.

Ну и что.

Моя мать меня не любила. Ну и что.

Мой муженек меня не потешит. Ну и что.

Даже не знаю, как я справлялся все годы, пока не узнал этот трюк. Много времени ушло у меня на то, чтобы его выучить, зато теперь уже не забыть».

Это краеугольный камень философии, которая сделает Энди Уорхола знаменитым в 1960-е.

Чарльз всегда считал, что Энди мог бы стать великим художником. «Однажды я всерьез взялся за него насчет того, чтобы тот стал художником лучше, чем есть. Спросил: „Ты кем хочешь быть? Не хочешь стать великим художником?“. Энди ответил: „Я хочу быть Матиссом"». Тем самым он имел в виду, как считал Чарльз, что хочет оказаться в такой позиции, где что ни сделай – все становится значительным.

«Сказал „Я хочу быть знаменитым". Была в то время в Vogue или Harper's Bazaar замечательная фотография Матисса работы Картье-Брессона. В Матиссе Энди не столько привлекало его творчество, сколько тот факт, что Матисс достиг того момента в своей карьере, когда ему достаточно было оторвать кусочек бумажки и приклеить его к другому, чтобы это было воспринято как важное и значительное. Сам факт, что Матисса признали всемирно известным, и подобное признание притягивали Энди. Здесь, думаю, ключ ко всей его жизни».

Корни «славяшки» 1928–1932

*Я пришел из ниоткуда.
Энди Уорхол*

Энди скрывал собственное детство во лжи и легендах с того самого момента, как получил мало-мальское внимание публики. Со времен колледжа он слагал в производственных масштабах истории о тяготах своей жизни и рассказывал разным людям, как вырос в разных местах. В тех крохах прошлого, что он соизволял разглашать, всегда были и частички правды, но даже его приближенным никогда ничего не было известно наверняка. Самой большой тайной было место и время его рождения. Любил рассказывать, что он из Мак-Киспорта, небольшой этнической общины рабочих к югу от Питтсбурга, но порой говорил, что родился в Филадельфии или вообще на Гавайях, то в 1928, то в 1925 или 1931 году. Впоследствии он разыграл собственную сцену рождения в декорациях, сгодившихся бы и для «Сумерек богов», с актрисой в роли его матери, утверждающей, что родила его в одиночестве в полночь, в самом центре большого пожара.

В мифологии Уорхола Энди был ребенком Великой депрессии, которому зачастую приходилось обходиться похлебкой из кетчупа на обед. Отец его был шахтером, которого сын видел нечасто и который умер, пока тот был еще ребенком. Братья дразнили его, а мать постоянно болела. Никто его не любил, и он никогда не знал ни веселья, ни дружбы. К двенадцати годам он лишился кожного пигмента и волос.

Он заставил поверить окружающих, что преодоление каждого жизненного препятствия наделило его противоречивыми чувствами по поводу собственного бытия. «Думаю, лучше быстро родиться, ибо это больно, и быстро же умереть, ибо это больно, только, думаю, родиться и умереть в ту же минуту – вот лучшая из жизней, потому что, как священник сказал, гарантированно попадешь в рай». Говорил, что появление его на свет было ошибкой, что это будто «похищение и продажа в рабство».

К моменту рождения Энди в спальне его родителей 6 августа 1928 года его отец Ондрей (Эндрю) и мать Юлия Вархолы уже с десятилетие проживали в тесной двухкомнатной хибаре из красного кирпича на Опп-стрит, 73. Эта улица была зажата между мутными водами реки Мононгахила и злачным округом Хилл, всего в миле от городской тюрьмы, что в трущобах Сохо Питтсбурга. Их первенец Пол родился 26 июня 1922 года, второй сын, Джон, 31 мая 1925 года. Вархолы были русинами, эмигрировавшими в Америку из русинской деревни Микова в Карпатах, недалеко от границы России и Польши, с территории, на рубеже столетий принадлежавшей Австро-Венгерской империи.

Отец Энди (называемый мальчиками Ноня и Андрей женою) был лысым крепким, упитанным мужчиной с большим животом и массивным торсом, ростом 174 сантиметра. Нос картошкой, пухлые губы, пышные бакенбарды, слабый подбородок и бледная кожа делали его, тридцатипятилетнего, похожим на советского лидера Никиту Хрущева. У него была хорошая, стабильная работа в Eichleay Corporation, занимавшейся укладкой дорог, расчисткой территорий и сносом домов. В те годы преимущественно деревянного жилья это было обычным делом: здание целиком буквально вырывалось и перемещалось дальше по кварталу или через дорогу, чтобы дать место новому строительству. Порой он уезжал из города по работе на недели и месяцы. Зарабатывал пятнадцать – двадцать пять долларов за шестидневную неделю по двенадцать часов за смену.

Говорили, что он выделялся из общей массы своим интеллектом и моральными качествами. Много работал и прилежно копил. Земляки – те, что тратились на выпивку и игры, – считали его угрюмым и прижимистым. К концу 1920-х Андрей Вархола владел несколькими тысячами долларов в почтовых облигациях и каждую неделю добавлял что-нибудь к своим накоплениям.

Матери Энди труднее приходилось привыкать к жизни в Америке, чем ее супругу. Когда родился Энди, ей было тридцать шесть. Лицо ее было тонким и осунувшимся, на глазах очки в тяжелой оправе, а волосы потихоньку начали седеть. Она всегда ходила в длинном простецком платье с передником, а на голове обычно была косынка. По-английски не могла сказать и слова. Что для женщины от природы общительной и открытой было особенно болезненно, но Юлия считала, что, словно Иисус, люди приходят в этот мир страдать. Она легко пускала слезу и со вкусом перечисляла несчастья своей жизни в Европе во время Первой мировой, призраки нищеты, болезней и смертей которой преследовали ее до самого конца. Она ежедневно молилась и писала письма двум своим младшим сестрам домой, в Микову.

Религия играла значительную роль в доме Вархолов. Они были набожными грекокатоликами, которые истово соблюдали календарь своей конфессии, вроде празднования Рождества 7 января. Энди крестили нескольких недель от роду и сразу же причастили. Имя Эндрю напрямую связывало его не только с собственным отцом, но и с дедом по материнской линии Ондреем Завацким и дядей Ондреем Завацким. Ритуалы у грекокатоликов мрачные и величественные. Служба начиналась с изгнания дьявола, а завершалась помазанием младенца в качестве «борца за Христа». Андрей был строгим человеком, читавшим молитвы перед приемом пищи и требовавшим полного покоя по воскресеньям. После похода семьей на службу за одиннадцать километров в крошечную деревянную церковь Святого Иоанна Златоуста на Сейлайн-стрит, в рабочем районе Гринфилда, они с женой Юлией настаивали на том, чтобы остаток дня посвящался семье.

Пол Вархола:

С утра по воскресеньям мы ходили в церковь. Вроде километров за восемнадцать. Тогда она была греческой католической. Сейчас ее византийской католической называют. Воскресенье был день покоя. И ножниц в руки нельзя было взять по воскресеньям. Только в церковь, потом меняешь одежду для церкви и никаких игр или чего подобного. У моего отца с этим было очень строго. И мама ничем не занималась. Даже не шила. Он был суров. Запрещалось даже ножницы взять, чтобы обстричь что-то. А если в церковь в воскресенье не пошел, то и из дома не выйдешь. А у нас ни радио, ничего, чего делать-то? Мама нам рассказывала истории.

Его брат Джон говорил:

Воскресенье было радостным событием, раз телевизора или радио у нас не было, то люди ходили друг к другу в гости. На первом месте была религия. Все выходцы из Восточной Европы тут были очень дисциплинированы. Мама утверждала, что походы в церковь любила больше обычной жизни. Никогда не верила в богатство, верила, что только добродетельность может сделать счастливой. Думаю, религия сформировала характер Энди. Нас учили не обижать никого, стараться все делать правильно, верить, что мы тут ненадолго, сохранять свои ценности, духовное, потому что все материальное останется позади.

Грекокатолическая церковь также была центром русинской общественной жизни. Это еще больше удалило Вархолов от большей части их соседей, римских католиков, но подобная

изоляция от общины значительно смягчалась многолюдностью семей Вархолов и Завацких. К моменту переезда в 1930 году в жилье посвободнее, на Билан-стрит, 55, что в нескольких кварталах от Опп-стрит, лучшей подругой и соседкой Юлии стала ее сестра Мария, а еще два брата и другая сестра жили неподалеку в Линдоре. Брат Андрея Йозеф тоже жил по соседству. У всех этих братьев и сестер были свои семьи, что помещало Энди в обширную дружественную сеть из тетей, дядей и двоюродных сестер и братьев, тесно общавшихся друг с другом все его детство.

Юлия и Мария вместе пели на свадьбах, крещениях, похоронах и постоянно вспоминали свою прошлую жизнь в Микове. Мария была застенчивой и нервной, уже с небольшими проблемами с алкоголем; Юлия – неизменно говорливой общепризнанной любимицей. Дочь Марии Юстина (Тинка) приходила в гости и играла в семью с Джонни-папой и Энди-ребенком, а Джон вспоминает: «У нас с Энди был на крыльце цыпленок в качестве питомца, пока мать его на суп не пустила».

Андек, как его звала мама, быстро проявил себя необыкновенно энергичным и умным. Это был пухлый живой ребенок, и сразу заметили, что схватывал он все быстрее братьев.

Энди питтсбургский родился в реальности Иеронима Босха, воплощенной в наши дни. Все находилось в постоянном и быстром движении. Расположенный в верховье трех рек, город был важным посредником между Востоком и Западом, а еще производил уголь и сталь, необходимые для промышленности Америки. Паровозы пыхтели туда-обратно днем и ночью, издавая пронзительные свистки. Суда тарахтели вниз и вверх по оранжевой и серой рекам, выгружались и загружались, их сигналы разрезали темный мрак неба. Разнообразные механизмы заводов кричали, охали и скрежетали индустриальную оперу из преисподней. Сотни тысяч рабочих сновали между фабриками, доками, шахтами, барами и постелью. Движущиеся картинки о воплощенном капитализме. Взятчиничество на всех уровнях администрации было так распространено, что права регулярно ущемлялись. И между тем Питтсбург был, даже для Вархолов, живым, энергичным, увлекающим и пестрым городом, дрейфующим среди моря постоянных прибытий и отправлений, торговли, политики, секса, алкоголя и корысти. Больше нигде в Америке газет на иностранных языках не выпускали.

Фотограф Дуэйн Майклс, выросшая в одно время с Энди, а впоследствии с ним подружившаяся, вспоминает:

Раз наши реки были оранжевые, я считала, что все реки такие. По ночам сталепрокатные заводы озаряли небо; всегда такое inferно. Фабрики очень шумели; слышно было, как краны сбрасывают гигантские предметы и гремят. Какая-то в этом была драма, даже что-то пугающее. Ребенком я думала, что тут просто великолепно... лучшее место для жизни.

Стефан Лорант писал в своей книге «Питтсбург: История американского города»:

Это самое колоритное место среди всех больших городов Америки. Там была вечная мгла, постоянный туман стоял в небе. Силуэты зданий и кораблей были затусованы, порой едва различимы, скорее просто угадывались. Фигуры людей, идущих по улицам, казались ненастоящими, словно в сказке.

Город раскинулся на площади более пятидесяти квадратных миль холмов и долин. Его шестисоттысячное население делало его шестым крупнейшим городом США. В 1920-е он стремительно разрастался. Большая часть его обитателей были иммигранты, работающие на двух основных отраслях промышленности – угольной и сталелитейной – постепенно превративших город в некое подобие дьявольской кузницы. Круглые сутки Питтсбург находился в огненном кольце. Огромные шары пламени выбивались из чрева металлургических заводов, окрашивая

ночное небо в невероятные оттенки фуксии и фисташкового – цветов, которые позже стали у Энди любимыми. На холмах по берегам рек огни печей сверкали, словно красные глаза зверя, а в дневное время выбросы повисали в небе чернильным покровом, чтобы соединиться для образования первого промышленного смога (термин в Питтсбурге и придумали). Пилоты в небе могли унюхать угольные пары, исходящие от реки Мононгахилы. Джон Вархола вспоминает: «В течение дня было так дымно, что порой солнца-то не было видно из-за гари, смога и копоти с заводов». Машины включали фары, фонари горели день напролет. По легенде Уорхола, первыми словами Энди было: «Посмотри на солнечное сияние! Посмотри на солнце! Посмотри на свет!» Всю свою жизнь он обожал солнце и ненавидел холодную, темную пору. А из-за копоти сложно было поддерживать чистоту. Домохозяйки каждое утро, день и вечер тратили время, чтобы смести с крыльца рудную пыль; новые здания быстро чернели; белые воротнички к полудню покрывались сажей. Приличные дамы порой надевали респираторы, чтобы сходить за покупками в центр.

Город подмяла под себя небольшая группа промышленников – семьи Карнеги, Фриков, Хайнцев, Меллонов и Вестингаузов. За довольно короткое время они сколотили внушительный капитал. Эти питтсбургские миллионеры жили в нарядных особняках Шейдисайда, построенных из заморских материалов и роскошно обставленных. Дома на пятьдесят комнат, частные кегельбаны и десять ванн были в норме вещей. Претенциозные в вопросах вкуса и ведущие эффектный образ жизни, питтсбургские миллионеры жаждали быть принятыми в высшее общество. Члены их семей регулярно объезжали Европу, скупая произведения искусства и уламывая аристократов вступить в брак с их отпрысками. Условиям жизни своей рабочей силы они уделяли мало внимания. Питтсбург был городом резких контрастов. Первые годы жизни Энди совпали с началом Великой депрессии. «Закопченные старые районы застыли, опустевшие, – писал семейный биограф Меллонов Бёртон Херш. – Сумевший пробиться свет мерк, поглощаемый заброшенными колеями железнодорожных путей, застрекая на вилках, с которыми шли в бесплатную столовую за порцией пышек нетрезвые новобранцы „голодного каравана“ отца Кокса на Вашингтон. Город приходил в негодность. Административный корпус парализован».

Великий американский журналист Генри Луис Менкен описывал:

Здесь было сердце промышленной Америки, центр ее наиболее прибыльной и исконной сферы деятельности, слава и гордость самой богатой и великой нации на Земле – и именно тут картина настолько ужасающе отталкивающая, такая невыносимо унылая и жалкая, что оборачивает все чаяния людские в кошмар и дурную шутку. Здесь было богатство несметное, почти превосходящее воображение, – и тут были человеческие обитатели столь гнусные, что стали бы позором и для расы уличных котов. Я говорю не просто о запущенности. В промышленных городах чисто не будет. Что я имею в виду – всеохватывающее и мучительное уродство, отталкивающую мерзость каждого здания на пути.

Коллега Менкена О. Генри высказался о Питтсбурге не многим лучше. Это была «захо-лустнейшая» дыра на всем земном шаре с населением «самым невежественным, невоспитанным, ничтожным, грубым, отсталым, отвратительным, неприглядным, подлым, сквернословящим, бесчестным, тупым, нетрезвым, грязным, злым, нищим».

Эти эпитеты вполне подходили к окружению Вархолов. Как и черные, которые были единственной этнической группой ниже них на социальной лестнице, восточные европейцы, презрительно называемые «славяшками», считались неумехами и не заслуживающими доверия. Их религия, язык и обычаи казались местным странными, над их детьми смеялись и изде-

вались в школе. Им предлагали низкооплачиваемые должности, а квалифицированным, вроде докторов, оставляли практику только среди своих же. Между самими «славяшками» существовала социальная иерархия в зависимости от вероисповедания и страны происхождения. Из-за отвратительного отношения их соседей (украинцев, поляков, венгров, румын, молдаван и словаков) русины держались обособленно и подозрительно, ограничиваясь общением со своими и только на собственном диалекте, «по-нашему», смеси венгерского и украинского.

Пол, Джон и Энди выросли, разговаривая «по-нашему». Старший Вархола ежедневно читал американские газеты и мог сносно говорить по-английски, но Юлия упрямо отказывалась учить его, и в семье общались только на родном. Когда Пол, старший, стал ходить в начальную школу в Сохо, незнание языка и славянская фамилия сделали его объектом насмешек и нападок.

Пожалуй, точнее всего сформулировал в начале 1930-х в докладе социолог Филипп Кляйн, отметив:

Наступление прогресса в Питтсбурге по мощи своей было невиданным и подчеркнуло известные противоречия своей эпохи... Социальная стратификация ужесточилась по всем фронтам, где только возможно, – местная, корневая, политическая и экономическая. Чтобы понять, что такое Питтсбург, нужно представить его как огромную фабрику, нацеленную на общенациональный рынок, вытягивающую ресурсы со всех сторон света и рассчитывающую там же найти и сбыт своего продукта... Определяющие ее удел силы были преимущественно экономического характера, следующие за волнами национальных прогресса и упадка. Депрессия ударила по Питтсбургу сильнее, чем в остальных районах, где промышленность была менее значимой. Городские заводы стремительно свернули производство, рабочих разогнали за ночь... Традиционный американский оптимизм уступил место унылому пессимизму. Отчаяние охватило души. Прощай, изобилие, вера в легкие деньги и устроенный быт. Жизнь помрачнела, словно небеса над городом...

«Если ад существует, то он перед вами, – будто бы сказал какой-то шахтер. – Работы нет, голод, боишься пулю словить, хоть и стыдно признавать такую правду». Во время сухого закона полиция закрывала глаза на то, как алкогольные бароны разъезжали на блестящих авто по Шестой улице, также известной как Великий мокрый путь, полную набитыми под завязку кабаками вроде The White Cat, The Devil's Cave и Little Harlem. Также полицейские не заботились патрулированием худших иммигрантских трущоб в Хилле, и бродячие банды малолетних хулиганов терроризировали жителей. Проституция и рэкет процветали, а пьянство среди питтсбургских рабочих стало поголовным. Они жили в деревянных домиках, многоэтажках и лачугах, теснившихся у подножий крутых холмов. Токсичные выбросы в атмосферу делали случайное возгорание обычным делом, и Энди вырос и всегда жил в страхе перед пожаром. Мало где была полноценная канализация; большинство пользовались туалетами на улице, у которых не было стока. Когда шел дождь, дерьмо струилось вниз по холмам, вливаясь в стихийные свалки, на которых играли рахитичные, бледные дети. Даже на окраинах районов поприличнее встречались загаженные улицы, брошенные аварийные дома и переполненные мусорные баки, из-за чего в жаркий день эти «ароматы Средних веков» заставляли вновь прибывших говорить, что «запах Америки им не по вкусу». Позже Энди описывал свой родной город как «самое худшее место, где довелось побывать».

Один из виднейших жителей Питтсбурга, Эндрю Меллон, был не только из самых богатых и влиятельных граждан Америки, но также являлся секретарем государственного казначейства в администрации Кулиджа и Гувера. Меллоны на Депрессии солидно зарабатывали. Что они не могли себе позволить – это бунт в родном тылу. Меллоны усилили полицию, кото-

рую местные называли казаками, и разгоняли рабочие демонстрации с такой жестокостью и постоянством, что эти стычки даже расследовались Конгрессом. В 1930 и 1931 годах к протестантам, требующим выплаты пособий, применили слезоточивый газ и стрельбу.

Для многих то были мрачные, отчаянные времена. Для других они стали возможностью подвергнуть критике саму основу американского капитализма. Когда кандидат в президенты от популистов отец Кокс 8 января 1932 года привел свою измученную, голодную и безработную армию из пятнадцати тысяч человек обратно в Питтсбург из столичного Вашингтона, где потребовал немедленной выплаты пособий и предоставления рабочих мест, его слова «что-то необходимо предпринять, чтобы сдержать насилие» были не просто предостережением. С ухудшением условий жизни в Питтсбурге и целиком по стране зверскую меллоновскую полицию вооружили пулеметами.

Питтсбург воплощал все главные черты американского духа двадцатого столетия: уверенность, напор, амбициозность, корысть, влияние, простодушие, надежда, удача, взяточничество, порочность, насилие, энтропия, беспорядок, безумие и смерть – черты, впоследствии проявившиеся в работах Энди.

Энди оказался в эпицентре неурядиц. Его отец потерял работу и вынужден был полагаться на свои бесценные накопления и случайные заработки, чтобы прокормить семью. Им пришлось съехать в двухкомнатную квартиру за шесть долларов в неделю в доме 6 по Молтри-стрит, между Пятой авеню и Мононгахилой, где теперь мост Брейди пересекает реку.

Джон Вархола описывал его так:

Здание было двухэтажное. Мы жили на первом. Второй этаж люди снимали. Ванна была просто металлической. Мы кипятили воду на плите. Комнатами нам служили кухня и спальня. Мы спали втроем на одной кровати. Район был безопасный. Раньше вообще не было так опасно, как сейчас.

По вечерам мы болтались прямо у дома. Дальше чем через дорогу не ходили. Всегда играли на улице. Тогда и машин-то почти не было.

Дела у Вархолов обстояли куда лучше, чем у многих жителей Питтсбурга. Шестнадцатого января 1931 года организации, оказывающие помощь нуждающимся, объявили о сорока семи тысячах семистах пятидесяти голодающих. В июне пять тысяч голодных протестантов прошли по городу. Для сравнения: не участвовавший в маршах старший Вархола, когда не искал работу и не ходил по родственникам, мог позволить себе присматривать дом за городом поблизости от Линдоры, где жили близкие Юлии. Когда цены упали, Андрей решил перебраться из трущоб в более комфортабельный, безопасный район, хотя саму покупку дома он совершил только в 1934 году. Юлия подрабатывала, за два доллара в день убираясь в домах и моя окна. А еще часами мастерила цветочные фигурки из консервных банок, которые продавала за двадцать пять – пятьдесят центов.

Энди вспоминал о них пятьдесят лет спустя:

Ее жестяные цветы, сделанные из фруктовых консервных банок, – вот что подвигло меня на первые изображения консервов. Берешь большую банку, чем больше, тем лучше, вроде семейного объема с половинками персиков, и режешь ее, допустим, ножницами. Это несложно, а потом из нее складываешь цветы. У мамы всегда были под рукой консервы, в том числе и из-под супа. Она была чудесной женщиной и по-настоящему хорошим и цельным художником, сродни примитивистам.

Отец Энди был удивительно целеустремленным человеком, задачей которого было вытащить семью из трущоб и обеспечить детей лучшим будущим. Мать Энди была типажа мамыши Кураж, сильная, жизнерадостная, веселая, в то же время очень суеверная и эксцентричная. Старший Вархола не играл, не пил и не ругался, а миссис Вархола хоть и не сильна была в

математике, в целом была очень бережлива и хозяйственна. Юлия выступала противовесом строгости и отстраненности Андрея. Она была приветливой, разговорчивой, сердечной, щедрой и мудрой женщиной. Значительная часть тайны характера Энди проясняется, когда осознаешь, что он взял у своего отца не меньше, чем у собственной матери.

У Юлии как матери были свои недостатки. Несмотря на ее отзывчивость и теплоту, отказ учить английский держал мать вдалеке от реалий жизни ребенка-«славяшки» в питтсбургском гетто. Когда Пола заставили одновременно учить английский и церковнославянский, который всегда изучали с шести лет, он горько жаловался родителям на невыполнимость такой двойной задачи, но его не поддерживали. Поэтому он направил свое недовольство в определенной степени на Джона и Энди. В тесноте на Молтри-стрит это было проще простого, так что Джон и Пол постоянно дрались.

Наверное, тяжелая доля старшего из сыновей и насмешки в школе стали причиной того, что Пол вспоминает те годы как сложные и страшные для семьи Вархолов:

Помню, отец сидит за столом, а мама ужинает. Обычно тарелкой супа. Мы, дети, то шлепнем, то ударим друг друга, а если спим вместе, то можем и посориться, и покричать.

«А ну не дотрагивайся своей ногой до моей!» – все такое.

Ну, тут-то и завязывалась кутерьма. Отец не любил, когда мы начинали, потому что он был без сил и очень расстраивался. Мама всегда говорила, что он много работал.

Энди отца боялся. Да все боялись. Он был суровый. Папа умирал нас одним только взглядом. Хоть он и был крут и строг, ему стоило только посмотреть на тебя, и этого уже было достаточно. Иногда мог накричать. Мама была очень против, чтобы ребенка били по голове или хребтине. Всегда считала, что, если обязательно наказывать, надо шлепнуть по попе.

Воспоминания Джона о становлении юных Вархолов в основном значительно отличаются от братских, кроме того, что касается отца:

Во время Депрессии отец больше времени проводил с семьей, но он был такой строгий, что ребенком думаешь, будто он злой. Папа был очень строг во всех вопросах, начиная с отсутствия десерта. К примеру, стоило мне попросить пирожных, он очень злился на меня. Я считал, что он жадный, а он говорил: «Если еще голоден, лучше ржаного хлеба с маслом съешь». У нас никогда не было лимонада. Я пил только воду и кофе. Но он заботился, чтобы еды было достаточно и чтобы она была качественная. Никаких там помоев.

Он воспитывал меня и Пола. Нутам, мы начинаем ругаться по какому-нибудь поводу. Знаете, как бывает, когда оба захотят одно и то же, а он устал; предупреждал нас раз, а если мы не переставали, снимал ремень, а мы убегали и прятались под кроватью. Он никогда не бил нас, но угроза шла за удар.

По субботам я шел в центр к строительному магазину и подбирал коробки, приносил их домой, складывал, нес на барахолку и зарабатывал центов тридцать или сорок, а потом покупал кварту молока за семь центов и буханку хлеба за шесть. Еще помню, искал по округе использованные лампочки и вытаскивал из них медь: брал молоток, доставал стекло, а медь – себе в корзинку. А потом был сухой закон, когда люди делали виски дома, и, если найдешь малёк, дадут за него пенни или два. Знаешь, кто самогон варит, но не хочешь, чтобы тебя по пути к ним заметили, потому что их могут арестовать, так что собираешь разом бутылочек по десять. Я искал их в переулке. Отдавал деньги матери, а она посылала их своей сестре в Европу.

Пол тоже стремился заработать копеечку, продавая газеты проезжающим автолюбителям. Когда собирал двадцать пять центов, бежал домой и отдавал их матери.

Она говорила: «Что же мне с ними делать?»

А я отвечал: «Сохрани. Когда будет доллар, отправишь сестрам в Европу». Мама отсылала им по два-три доллара, целое состояние. Папа в вопросе денег был прижимист, и как-то письмо вернулось, а он нашел там доллар и впал в ярость.

Даже на той стадии мальчишки Вархолы соревновались за признание у своей матери, зарабатывая для нее. Этот факт сыграет важную роль в карьере Энди.

Энди Уорхол:

Впервые я столкнулся с сексом в Нортсайте, под лестницей, когда они заставили какого-то чудака отсосать тому парню.

Я вообще ничего тогда не понял. Просто сидел там и смотрел.

Позже Энди опишет себя маленького как «агрессивного и задиристого», и он действительно был занозой в те годы на Молтри-стрит.

Пол Вархола:

Когда Энди был маленьким, он и впрямь усваивал все намного лучше нас, но еще он был проказником лет так с трех до шести. Энди нахватался плохих слов, когда ему было три, а у нас дома такое было запрещено. Он слышал, как другие ругаются, малыш был еще. Приходим к родственникам, а Энди выдает что-нибудь этакое, всем неловко. Очень было неудобно. И чем больше его шлепали, тем больше он повторял, только хуже становилось. Совсем плохо себя вел. Говорил именно потому, что мы ему запрещали. У нас никто в доме не ругался. Нам «черт» нельзя было сказать.

Энди искал у матери защиты от суровых мужчин своей семьи. Юлия Вархола была отличной рассказчицей. Ей нравилось разговаривать с Энди на кухне за уборкой, готовкой или работой над жестяными цветами. Любимыми темами были библейские сюжеты и ее жизнь в Микове. Юлия стала первой неугомонной болтушкой в жизни Энди, и с тех самых пор он был очарован женщинами, которые могли интересно говорить. Юлия собирала ребят за кухонным столом вечерами и рассказывала им о перипетиях собственной жизни и Русинии.

Карпатские горы известны как родина Дракулы, и крестьяне, по Брэму Стокеру, опускавшиеся на колени у придорожных святилищ, осеняющие себя знамением, услышав его имя, напоминают дальних родственников Энди Уорхола. Женщины были хрупкие и миловидные, с хорошей кожей и высокими скулами, с косынками и в длинных ярких платьях. Мужчины были красивы, с длинными волосами и огромными усами, и носили свободные белые штаны с широким украшенным ремнем, заткнув их в высокие сапоги.

Как рассказывала Юлия детям, их отец родился в Микове 28 ноября 1889 года. Вархолы были набожными, неразговорчивыми, степенными, сдержанными, работающими и подчеркнута скупыми. Их регион все детство старшего Вархолы приходил в упадок. Андрей рос, работая в поле со своим младшим братом Йозефом. К семнадцати годам он понял, что тут будущего нет, и эмигрировал в далекие благословенные земли Питтсбурга. Там он проработал на шахте два года, пока не вернулся в Микову, чтобы, как выражалась Юлия, «нанять невесту».

Юлия Завацкая, которая родилась 17 ноября 1892 года, утверждала, что у ее матери, Йозефины, было пятнадцать детей. В таком случае до ее отрочества шесть из них не дожили, потому что осталось их всего девять. Ее братья Джон и Эндрю (Ондрей) уже эмигрировали в Линдору. Ее братья Стив и Юрко, а также сестры Мария, Анна, Элла и Эва остались с ней в

Микове. Она вплетала пространные, сказочные описания деревни в свои рассказы. Вода была «такая хорошая», почва была такая хорошая, а картошка была какая хорошая – для Юлии ничто в Америке столь же хорошим не было. Она рассказывала о работе в поле, выпасе коз, страхе перед волками и ходьбе босиком по снегу.

В отличие от Вархоллов, Завацкие были говорливой, эмоциональной и творческой семьей, не многим богаче других деревенских. Ребенком Юлия беспрестанно напевала, смеялась и болтала. Они с Марией пели в унисон. Хотели стать знаменитыми певицами и разъезжать в сезон по округе, выступая с цыганским цирком. Она намекала на роман с одним из цыган. Когда была молодой, «мое тело как магнит притягивало только хороших мужчин», – говорила она, довольно посмеиваясь. Завацкие были людьми мелодраматического склада и заиклись на своих несчастьях, пересказывая их словно библейские сюжеты. Почти все дочери в итоге стали алкоголичками.

От Вархоллов Энди взял неумный драйв, воздержанность, напористость и расчетливость в деньгах. От Завацких унаследовал расположенность к слезам, страсть к актерству, веру в судьбу и магическое, интерес к смерти и катастрофам и умение мифологизировать все, что бы с ним ни случилось. Его предки нередко страдали из-за своего характера, но Энди научился получать от него пользу.

Юлия выросла в самую красивую и цветущую из дочерей Завацких. Она была одаренным художником, работающим в народной манере, увлекалась созданием небольших скульптур и рисованием орнаментов на домашней утвари. В 1909 году, когда ей было шестнадцать, отец объявил, что пора замуж, чтобы ему больше не пришлось ее кормить. В тот год его старший сын, Джон, женился в Линдоре, а его свидетелем на свадьбе стал Андрей Вархола. Когда сразу после возвращения в Микову в 1909 году Андрей познакомился с Юлией в доме ее родителей, он был привлекательным девятнадцатилетним почти американцем. Вся голова в светлых коротко стриженных кудрях, а лицо чисто выбрито. Он был таким романтическим героем для деревенских, потому что уехал в Америку, а потом вернулся с подарками, а слава о нем шла как о работающем, набожном, достойном человеке. Если верить Юлии, «он вернулся в деревню, а каждая девушка его хотеть. Отцы обещать ему много денег, много земли, если женится на их дочери. Он не хочет. Он хочет меня».

Юлия была миниатюрной, худенькой девушкой, ростом не больше 157 сантиметров, с длинными золотистыми волосами, высокими скулами и очаровательной улыбкой. Она была мечтательницей с отличным чувством юмора, а Андрей был угрюмым; она любила поговорить, а Андрей был молчуном.

«Я ничего не знала, – говорила Юлия. – Он хочет меня, но я его не хотеть. Я о мужчинах не думать. Мои мать и отец говорить „полюби, полюби его“. Я бояться». Когда она отказалась выходить замуж за Андрея, отец избил ее. Коль продолжала отнекиваться, позвал деревенского священника. «Священник – о, замечательный священник – приходит. „Вот Энди, – говорит, – очень хороший парень. Выходи за него“. Я плакать. Я не знать. Энди опять приходит. Он приносит сладости, замечательные сладости. Вот за эти сладости я за него и выходить».

Надев традиционный народный костюм в очередной раз, на свадьбу, с лентами на широкополой шляпе, Андрей проплясал и прогулял полтора дня с Завацкими, а потом столько же с Вархолами под одобрительные улыбки родни.

Пара следующие три года провела в Микове, под одной крышей с Вархолами, работая на их полях. В 1912 году, с началом Первой Балканской войны, Андрей решил вернуться в Питтсбург, чтобы избежать призыва в армию императора Франца Иосифа, где ему вскоре пришлось бы воевать против собственного народа с российской стороны границы. Юлия была беременна и осталась со своей пожилой матерью и двумя младшими сестрами, Эллой и Эвой. Их отец умер, а остальные дети уехали в Америку. Андрей обещал прислать денег, чтобы Юлия приехала к нему, как только получится. Их разлука продлилась девять лет.

Жизнь с Вархолами и так была не сахар, а с отъездом Андрея стала еще сложнее. Те сетовали, что им приходится содержать Юлию, и заставляли ее работать по двенадцать часов в день, чтобы оплатить свое проживание. Как она сказала, «когда муж уезжает, все плохо».

В тот год случилось первое серьезное горе в ее жизни. В начале 1913 года она родила девочку, Юстину. Зима стояла необыкновенно холодная, и вся семья спала на большой каменной печи в доме. Младенец подхватил простуду и мучился судорогами, а докторов поблизости не было. Вархолы настояли, чтобы Юлия продолжала ходить с ними работать. Однажды вернувшись, она обнаружила свою полуторамесячную дочь мертвой. Говорила, это лишило ее рассудка. Раскрыла настежь окно и заголосила в ночи: «Мой малыш мертвый! Умер малыш мой! Моя девочка!»

Вскоре после случившегося Юлия обратилась в Красный Крест, чтобы узнать, какова судьба ее брата Юрко, и ей сказали, что он погиб. Она вернулась в деревню и передала это матери. Через месяц та умерла от разбитого сердца, а Юлия осталась в ответе за Эллу и Эву шести и девяти лет.

Той весной урожай пропал, и перед жителями Миковы встала угроза голода. Старая вдова из деревни пожалела Юлию и взяла на себя заботу об Элле и Эве в течение дня, пока Юлия трудилась. Они сидели на картошке и хлебе месяцы напролет и чуть не умерли от голода. Осенью Юлия получила письмо от Юрко, объяснявшее, что о его смерти сообщили потому, что он обменялся формой с убитым и забыл свое удостоверение в кармане мертвеца. Говорил, что совершил ужасную ошибку.

Тут началась Первая мировая война. Отрезанная от Андрея, фактически беззащитная в Микове и отвечающая за жизнь своих младших сестер, Юлия потонула в невзгодах.

Ожесточенная война, разразившаяся в Карпатах с 1914 по 1916 год, была битвой народов в той же степени, что и расправой среди местных. Давнишняя глубокая вражда, основанная на принимаемых близко к сердцу религиозных и классовых различиях, вспыхнула с особой жестокостью, и земля была разорена. Дом Юлии сожгли, и она потеряла все имущество. Особенно горевала она из-за потери альбома с фотографиями собственной свадьбы.

Сообщили, что брат Андрея, Георг, погиб в трясине при форсировании его отрядом реки. В соседней деревне глав тридцати шести семей собрали и расстреляли. Насколько Юлии было известно, русские были не лучше немцев, а поляки еще хуже. Ее знание окрестностей спасало им жизнь. Когда бы ее ни предупреждали о приближении солдат, она сажала сестер и вдову в лошадиную повозку и уезжала в лес, где они таились целыми сутками. Эти отъезды зачастую происходили посреди ночи, в снег и дождь. Пока добирались, юбка Юлии порой промерзала насквозь.

Андрей начал работать в строительной сфере. После войны он попадает на глаза лишь однажды, когда его брат Йозеф возвращается со службы. Чтобы отпраздновать, они пошли на свадьбу, напились и ввязались в драку, где их обоих серьезно порезали бритвами. Этим можно в некоторой степени объяснить его трезвый образ жизни впоследствии. В ту пору он определенно хотел-таки, чтобы Юлия приехала к нему в США, потому что в начале 1919 года раз пять отсылал ей необходимую для поездки сумму, по крайней мере, утверждал так, но ни одно из писем с деньгами она так и не получила. Неизвестно, пытался ли он отправить ей что-то в предыдущие семь лет своего отсутствия.

В 1921 году, пока эпидемия гриппа продолжала выкашивать население Карпат и незадолго до того, как Соединенные Штаты наложили запрет на иммиграцию из Восточной Европы, Юлия Вархола взяла в долг у священника сто шестьдесят долларов и отправилась на поиски мужа в Питтсбург: верхом, в повозке, на поезде и корабле.

Рабы Питтсбурга 1932–1944

*Думаю, молитва помогала ему в трудные времена, а религия
сформировала его характер.*
Джон Вархола

Все трое сыновей вспоминали Юлию как «замечательную мать», и нет сомнений в том, что дома она их баловала. Хорошо готовила, хотя порой им и приходилось обходиться томатным супом из банки кетчупа Heinz, воды, соли и перца. Тем не менее в целом она не была знакома с деталями их жизни вне дома и отказывалась изучать английский. Ее голова была занята религией, призраком погибшей дочери и воспоминаниями о войне. Она мало что знала о том, что на самом деле происходит с Энди.

Когда тому было четыре, Андрей вернулся на работу в корпорацию Eichleay и стал вновь уезжать в командировки, оставляя Пола исполняющим обязанности главного по воспитательной части (раз Юлии это не удавалось) для Джона и, в первую очередь, Энди. Все трое братьев боялись Андрея, но его отношения с Энди характеризовались преимущественно его отсутствием и в какой-то степени объясняли свойственное на протяжении всей жизни Энди ощущение беспомощности. Как самый младший и неразвитый из братьев он, очевидно, чувствовал себя обделенным.

Пока «Ноня был там», как они говорили, когда Андрей брал работу за городом, десятилетний Пол был за мужчину в доме. Он уже продавал газеты в трамваях и зарабатывал по мелочи у стадиона, где парковал машины и продавал орешки. Комбинация отцовского физического и материнского ментального отсутствия зачастую оставляла Энди на милость его старшего брата. Пол был ребенком доброжелательным, но ему плохо приходилось в школе. Он так и не сумел забыть свой позор из-за незнания английского в первый год учебы и жутко нервничал, когда ему приходилось выступать перед классом. Вскоре у него начались проблемы с речью, и он стал прогуливать уроки, где требовалось публично говорить. Он слишком боялся рассказать отцу о своей беде, а мать бы и не поняла его. Вместо того чтобы улаживать собственные проблемы, он сконцентрировался на воспитании своего непослушного младшего братишки Энди.

В Питтсбурге тридцатых дети не ходили в школу до шести лет. В сентябре 1932 года Энди было только четыре, но Пол твердо решил записать его в первый класс начальной школы Сохо. Помня, как тяжело пришлось ему самому в первом классе, Пол был убежден, что этот шаг позитивно повлияет на непокорную натуру Энди.

В те дни не требовалось свидетельства о рождении или чего-то подобного. Приходишь в кабинет директора и говоришь: «Хочу записать этого в школу». Мама была не в курсе. Мне тогда около десяти было. Я думал, пора бы сплавить Энди в школу. Он уже достаточно взрослый. Болтается тут.

А мы всего в паре кварталов. Поначалу он не хотел идти учиться, но я его заставил. Первый день был довольным, пока я его вел и регистрировал. Никаких бумаг не спросили. Мужчина просто взял его за руку и повел в кабинет к директору. Я сказал: «Он новенький».

Но когда Пол пришел забирать Энди в конце дня, то нашел брата в слезах. Энди не переставая плакал всю дорогу домой и, когда они дошли, заявил семье, что в школу он не вернется. «В тот первый день в школе какая-то маленькая черная девочка ударила его, и он шагает домой плача и говорит, что больше туда не пойдет, – рассказывает Пол, – на что мама сказала: „Ну, значит, оставайся дома“». Пол не знал что делать. Ему в школе поначалу тоже было тяжело. Он

считал, Энди должен на следующий день опять пойти. Тот вцепился матери в подол и умолял оставить его дома. «Ну, мать и говорит, не дави на него, он еще слишком маленький. Так что мы его и не заставляли».

В течение следующих двух лет, пока Пол с Джоном были в школе, Энди проводил большую часть времени дома со своей мамой и домашней кошкой. Юлия любила рисовать. «Я рисовала картинки, чтобы Энди разрисовывал, пока он был совсем малышом, – вспоминала она впоследствии. – Ему это нравилось, еще как, он очень хорошие картинки делал. Мы вместе рисовали. Я любить рисовать котов. Я настоящая кошатница». Они делали портреты друг друга или кошки. Вместе покупали одежду.

Когда Юлия бывала дома по воскресеньям, по-соседски заходили гости. Иногда родственники из Линдоры приезжали в город. Юлия готовила куриный суп, халупку (голубцы) и пироги. Кто бы ни приходил к Вархолам, они видели Энди прислонившимся к матери, если та сидела, или державшимся за ее юбку, если она стояла. Он опускал голову, а когда поднимал глаза, смотрел исподтишка, словно боялся удара. Если Юлия не замечала его, заходя в комнату, всегда спрашивала: «Де Андек? Где же Андек?»

Когда пришел 1933 год, суровые реалии Депрессии стали смягчаться. Жители Питтсбурга проголосовали против пуританских законов, запрещавших игры по воскресеньям. Сухой закон отменили, и мужчины оккупировали бары после работы.

В конце 1933 года брат Андрея Йозеф оформил закладную и переехал с семьей с Лонстрит на Доусон-стрит в округ синих воротничков, Окленд. Когда близкий друг Андрея Александр Элачко купил дом в паре дверей от Йозефа, Андрей решил приобрести жилье между ними. Он заплатил за него три тысячи двести долларов наличными, и в начале 1934 года Вархолы переехали с Молтри-стрит в трущобах Сохо на Доусон-стрит, 3252 в Окленде. Андрею всегда хотелось, чтобы семья жила вблизи от хороших школ и их церкви. Начальная школа Холмс была всего в полуквартале по их улице. До средней школы Шенли было пятнадцать минут ходьбы. Церковь Святого Иоанна Златоуста находилась всего в одной миле.

Дом значительно превосходил размером все жилища, где Вархолы когда-либо обитали. Это был двухэтажный кирпичный дуплекс с Элачко в качестве соседей слева. Небольшой лестничный марш вел от мостовой к общему входу на две семьи. Второй марш шел к крыльцу Вархолов. Входная дверь открывалась в узкий коридор с лестницей наверх. Дверь справа вела в гостиную 3х4 метра. Кирпичный камин был встроен в стену напротив. Слева от него был диван, накрытый простыней. Напольная лампа у маленького столика с белой скатертью стояла у дивана. Справа от камина – кресло-качалка. Еще одна лампа была на столике у белого деревянного кресла. Стены и потолки были голыми, закопченными. За гостиной располагались маленькая столовая и кухня. На втором этаже было две спальни: одну делили Джон с Энди, родителям досталась с видом на улицу. Была небольшая уборная с ванной. Пол переделал мансарду со слуховым окошком, выходящим на Доусон-стрит, в третью спальню. Вархолы впервые жили в доме, который отапливался бы углем, загружаемым в печку в подвале.

Джон гордился тем, что отец купил собственный дом. Он говорил, «это как оказаться в другом мире». Андрей сам гордился жильем и тут же стал заниматься его улучшением, копая после работы погреб. Юлия выращивала овощи в маленьком внутреннем садике, который Энди помог ей перекопать.

Семья Элачко стала им совсем как родственники. Еще Андрей был близок с братом Йозефом, но его жена – тетя Энди, которую мальчики называли Стриной, – «была очень властной, любящей командовать женщиной, к тому же не очень умной», – как вспоминал Пол. «Нам нравился дядя, он был отличный, но она им помыкала. Наша мама с ней никогда не ладила». «Не знаю больше никого, кто так же мог бы говорить и вдыхать одновременно», – отмечал Джон Элачко. Разница в доходах семей – вот что в первую очередь становилось поводом для конфликтов.

Пол говорит:

Мой дядя всегда немного завидовал отцу, потому что он скопил денег, пока тот свои промотал. Над отцом смеялись, что он припасал что-нибудь на черный день. Брат всегда ему это поминал. Говорил: «Ты при деньгах, а жмешься!» Мой отец был хорошим отцом. Он был строг с детьми и рассчитывал, что мы вырастем в докторов или юристов. Работал до седьмого пота, чтобы нас учиться отправить, а когда я бросил, он очень расстроился. Знал бы, как Энди прославится сегодня, очень бы гордился им.

Впоследствии жалобы Энди, что он «никогда отца не видел, потому что тот всегда был в командировках на шахтах», поразили некоторых Вархолов.

Мардж Вархола (жена Джона с 1952 года):

Читаю все это про Энди и его мать. А отец что? Будто и не было у него отца. Совсем как у нынешних черных. У них есть дети, а родителей нет. Я хочу сказать, это же неправда. Он очень много трудился и был настоящим семьянином. Хотел, чтобы каждый из них получил образование в колледже, если сложится, особенно это касалось Энди, потому что он знал, что тот умный. Говорят, он был мудрый человек и видел в Энди что-то. На него все друзья ровнялись. Мне их сосед про отца Энди рассказывал. Говорит, раньше не было кредитных организаций, и, приезжая из Европы, брали в долг у земляков на покупку жилья. Приходили к отцу Энди и просили у него денег, а он говорил: «А ты свои куда дел?». Знал, что тот пьющий. Ему тот отвечает: «Ну, свои я потратил».

А он ему: «Ага, потратил. А теперь ты хочешь потратить и мои» – и денег ему не давал. Но, говорит, если Андрей знал, что человек бережливый, то одалживал. А теперь в книжках пишут, что Энди из очень бедной семьи, так, тогда все были бедные. В смысле внутри этнической группы все жили приблизительно одинаково. Никаких празднований дней рождений или подарков на Рождество. Его отец достоин куда большего уважения.

Окленд, к востоку от Сохо, был внушительных размеров районом, поделенным на две части крупной артерией 5-й авеню. К северу от него находились впечатляющие здания администрации, построенные в качестве символов собственной империи питтсбургскими миллионерами: Мемориальный зал солдат и моряков, Сирийская мечеть и 42-этажный Храм науки посреди Питтсбургского университета. На юг поднимались тесными рядами двух- и трехэтажные дома рабочих, доходя до самого начала Доусон-стрит, идущей параллельно Пятой. За Доусон уровень местности становился ниже, перетекая в прекрасную зеленую воронку Шенли-парка и лощину Пантеры. Юлия вскоре прославилась легендарным гостеприимством. Друзей и родных, навещавших Вархолов, неизменно встречали объятие и тарелка куриного супа. Веселая натура, любовь к беседам и беспрестанная раздача дельных советов превратили ее в центр притяжения целого квартала, и Юлия на Доусон расцвела.

«До парка был всего один квартал, и дома были очень симпатичными, – говорит Джон Вархола. – Преимущественно жили евреи, поляки, греки, и мы хорошо ладили».

Не назвавший себя итальянец, который был дружен с Вархолами на протяжении тридцатых и сороковых годов, описывает:

Энди был помладше, но ходил вместе с моим братом в школу Шенли, а жил в шести домах от нас на Доусон-стрит. Тут были итальянцы, евреи, поляки, а дальше по улице на углу жили черные. В моем детстве мы нередко эту присказку слышали: «славяшка», «макаронник», итальяшка, цыпленок – мне,

тебе – кашка. Мы евреев называли шмуками (чмо) и шинисами (жидами). У господина Байера был магазин сладостей на углу. Он был еврей. А за ним жил господин Кац. Он был еврей. На нем вся округа держалась. Собери он все деньги, что ему были должны, миллионером бы стал.

В те дни район был вполне спокойный. Дети вместе играли и становились друзьями, и родителей более-менее тоже между собой сводили. Вот как дела обстояли. Мы все делали одной компанией. Нас было ребят сорок или пятьдесят. Мы были не разлей вода. Время семь тридцать, может, восемь утра, уже в подковы играем. Потом, когда народу придет достаточно, переходили на бейсбол или софтбол. Между половиной первого и часом шли купаться в Шенли-парк. Потом играли в кости за зданием Совета по образованию.

Но Энди был слишком умный, постоянно витал где-то в собственном мире, держался сам по себе.

Как только Энди стал общаться с другими детьми, проявилась определенная особенность. Он предпочитал иметь дело почти исключительно с девочками. Его лучшим другом в школе Холмс была маленькая украинка, тоже греческая католичка по имени Марджи Гирман. Марджи была на год младше Энди, но они были практически одного роста и сложения. Если Энди не сидел дома, его всегда можно было найти на улице, играющим с Марджи или сидящим с ней на крылечке. Другам и близким их отношения запомнились как типичная щенячья привязанность, но в Марджи Гирман Энди нашел первую девочку, с которой мог себя идентифицировать. Ее лучшая подруга, Мина Сербин, тоже ходившая в Холмс, вспоминала, что «Марджи была очень умной и никогда не замолкала, и это она вдохновляла Энди лучше учиться. Все твердила, как будет стараться подготовиться к контрольной. Энди это нравилось, и он все повторял за ней».

По их общей фотографии ясно, до какой степени Энди идентифицировал себя с Марджи. Их выражения лица и позы на фото абсолютно идентичны. Словно и личности их слились воедино. Дружба Энди с Марджи Гирман положила начало определенному сценарию его отношений с женщинами до конца его дней. Какая-то его часть хотела стать ею.

Энди с Марджи стали ходить в кино по субботним утрам. За одиннадцать центов каждому полагалось мороженое на выбор, двойной сеанс и глянцева открытка двадцать на двадцать пять сантиметров со знаменитостью. Вскоре у Энди собралась целая коробка таких «звездных» фотографий, подобия которых он двадцать лет спустя создаст в виде своих трафаретных портретов киноактеров. Эти фотографии стали его первой коллекцией. Любимый фильм Энди на все времена – картина продюсера Билла Оско «Алиса в Стране чудес».

Джон Вархола вспоминает, как играл с Энди на Доусон-стрит:

Берешь пробку от бутылки и пытаешься ударить по ней теннисным мячиком так, чтобы подвинуть в сторону, а он наоборот пытается сделать. Еще в софтбол мы играли, и когда Энди оказывался на поле, то играл немножко, а потом приходит время бить, а его уже и на месте нет. А когда возвращаешься домой, он на крыльце рисует. Постоянно так делал маленьким. Мы смеялись. Говорили: «Не, только не сбегай домой, Энди!» А он любил рисовать мелками. Такой уродился.

Энн Элачко тоже вспоминает игры с Энди:

Мне он казался милым мальчишкой. Вроде живой такой, но крепким не выглядел. Наверное, это из-за его породы создавалось впечатление, будто он какой-то нежный и хрупкий. Когда я шла навестить их по-соседски, он всегда торчал около матери. Она была очаровательной. Обладала чувством юмора и понимала больше, чем большинство ее земляков. Даже ее представление о

религии выходило за рамки того, что говорили. Нас всем нравился отец Энди. Он был замечательным мужчиной. Совсем не похож на своего брата, Джо. Отец Энди был как бы уже другого уровня человек. Кажется, он просто самоучка, но никакого мужланства в нем не было. Очень приятный джентльмен.

Где-то раз в месяц Юлия навещала своих родных в Линдоре и брала с собой Пола, Джона и Энди. «Нельзя быть ближе, чем были мама и ее братья с сестрами, – говорил Пол Вархола. – Нам у них нравилось, потому что похоже было на ферму, а наши дяди были такими первопроходцами. Будто основали свой город».

Лучшей подружкой Энди в Линдоре была Лилиан «Кики» Ланчестер. Кики была очень симпатичной одаренной девчушкой, которая играла на гавайской гитаре и любила разыгрывать окружающих. Стоило Энди оказаться в Линдоре, он искал Кики, и они мчались к кондитерской на углу и пропадали потом где-то в окрестностях, хихикали и болтали часами. Энди обожал слушать Кики. Кики вспоминает:

Тетя Юлия вязала крючком самые прекрасные безделушки на свете. Тетя Анна любила заниматься творчеством. Что я помню про Энди, это что он всегда был по-особенному опрятным и исключительно чистым. В детстве мы были очень близки. Он многое мне рассказывал, потому что мы вместе играли. Но при других он был очень серьезный и стеснительный. Какую фотографию ни возьмешь, вечно голова опущена и смотрит исподлобья, словно боится или не доверяет.

В оставшиеся воскресенья Юлия посещала свою сестру Марию Прексту в Нортсайте. Лучшим другом Энди в доме тети Марии была его кузина Юстина, Тинка, на четыре года его старше и тоже настоящая болтушка. Недалеко от их игровой площадки был лесок. «Он будто преследовал меня, – вспоминает Тинка. – Я рассказывала ему всякое, а он все посмеивался». Пока дети играли на улице, Мария и Юлия зачитывали письма из Европы. «Так это всегда было печально, – говорит Тинка, – потому что денег послать Элле и Эве у них не было, а они постоянно обсуждали тяготы в Европе и плакали». Иногда у Юлии были сильные приступы мигрени, и Мария укладывала ее в постель, грела соль в мешочке и прикладывала ей к голове. Порой они вдвоем прекрасно пели на два голоса, как когда-то в Микове.

Джон Вархола:

Тинка была ему как старшая сестра. Наша и ее мать были очень близки; на самом деле, если закрыть глаза, то и не отличишь, которая разговаривает, – по манере были очень похожи.

Тинка:

Наши мамы все говорили и говорили на непонятном языке, а мы с ним были сами по себе, я и Энди, и могли пойти в лавку и купить мороженого и сладостей, в кино пойти или еще куда. Но мне вот что известно. Он ходил с матерью выбирать ей шляпки. Обожал это. А она шляпки любила. Помню, купила она как-то черную фетровую, а он, еще совсем малыш, обвел ее поля золотым. Видать, он уже тогда был художник. Еще он любил выбирать маме наряды, ну и вообще был маменькиным сыночком.

Марджи, Кики и Тинка единогласно считали Энди очаровательным, милым и добрым. С ними он мог заниматься тем, что ему интересно, и, по выражению Джона, как сыр в масле катался. В то же время друг Джона, Гарольд Гринбергер, вспоминает: «У Энди приятелей не водилось, никого не помню, с кем бы он просто болтался по округе. Помню только Марджи Гирман. И никаких друзей или компании».

Единственный день Энди в начальной школе Сохо засчитали за год, и когда он в шесть лет пошел в школу Холмс, то сразу во второй класс. Его учительница, Кэтрин Мец, и через полвека живо его помнила. «Блондинистый был мальчик со светлыми глазами, тихоня, из класса мало выходил и очень хорошо рисовал». Поначалу Энди думал было рассекать по школьным коридорам, словно он невидимка, но из-за бледного лица и белесых волос он выделялся из толпы таким чудачком, который, по воспоминаниям других, чурался знакомства. Несмотря на все это, первый год в школе прошел на ура. Классы были светлые и просторные, рисунки ребят развешаны вдоль широких холлов. Половина учащихся были евреи, а остальные преимущественно из Восточной Европы. Занятия в каждом классе начинались с чтения Библии и молитвы вслух. Второклашки ходили на обед домой в полдень – Юлия каждый день наливала Энди тарелку супа *Campbell* – и в час тридцать могли с чистой совестью мчаться по пожарной лестнице навстречу жизни. Энди говорил матери, что школа ему по душе.

К моменту поступления в Холмс Энди мог немного говорить по-английски, с ошибками. Его мать продолжала общаться «по-нашему», но мальчики отвечали ей все чаще на английском. Энди мучиться со старославянским в приходской школе не пришлось.

Тщедушность предсказуемо сделала Энди мишенью для хулиганов, болтавшихся на углу у кондитерской напротив школы. Обычно с учебы он шел напрямик домой, и Юлия особо не отпускала его одного в город. Она вручила троим своим мальчикам ладанки с Девой Марией. «Цепочки нам были не по карману, – рассказывал Джон, – так что она приколола их к одежде с изнанки, чтобы дети над нами не смеялись. Я спрашивал Энди, не пристаю ли к нему, он отвечал, что не пристаю. Он всем был по душе, я не видел, чтобы он и злился-то когда. Правда, уникальная личность. Никогда не жаловался».

После школы Энди сидел дома и делал уроки. Казалось, он хотя бы на время сумел избавиться от бывшего духа непослушания и больше не ругался демонстративно и не разговаривал с вызовом, как прежде. Он много рисовал. «Как-то прикипел к этому делу, а способности у него были еще с младенчества, – вспоминал Пол. – В начале тридцатых у нас радио не было, так что сделай домашнее задание и развлекай себя рисунками».

Джон рассказывает, насколько Юлия готова была поддерживать увлечение Энди:

Денег было в обрез, а Энди хотелось всякое, что мы не могли себе позволить. К примеру, когда ему было семь, захотел кинопроектор. Экран мы себе позволить не могли, но показывать и на стене можно было. Картинка была черно-белой.

Он смотрел «Микки-Мауса» или «Сиротку Энни», набирался идей и шел рисовать. Мать купила проектор, не сказав отцу.

Юлия нанялась убираться за доллар в день, пока не скопила для Энди двадцатку.

В Холмсе среди учителей Энди имел репутацию мальчика способного и разбирающегося во всем, что касалось искусства. В старших классах он был нарасхват, когда в зависимости от времени года речь шла об оформлении помещений, украшения доски и рисунках для классных календарей.

Юлия Вархола:

Энди некогда болтаться по улице. Ему некогда играть. Он у меня делать уроки. Мой Энди для смеха нарисовал лицо соседского мальчишки. Энди было девять. Ох, Энди хороший мальчик. Умный. Его учительница, леди, говорит мне, что он сам себя хорошо учит.

Энди Уорхол:

У меня были хорошие оценки в школе. Учителя меня любили. Они говорили, что у меня природные способности. То ли необычный талант.

«У меня было три нервных срыва в детстве, – писал Энди в „Философии Энди Уорхола“. – Я вечно болел, так что постоянно ходил в летнюю школу, чтобы нагнать», – рассказал он в интервью в середине семидесятых. «Говорил, с ним случалась пляска святого Витта в детстве, все волосы выпали, и не мог руку ровно держать», – вспоминал кто-то из его паствы в шестидесятые. Когда какой-то репортер поинтересовался, от чего у ребенка могут быть нервные срывы, Энди мрачно ответил: «Я был слабенький и ел слишком много сладкого».

У Энди и впрямь было немало проблем со здоровьем в детстве. Пол вспоминал:

Когда Энди было два года, у него стали глаза гноиться. Это не проходило, и мама стала промывать их борной кислотой каждый день. Когда ему было четыре, он вышел из дому на Молтри-стрит, упал на трамвайные пути и сломал руку. Маме только через несколько дней рассказал. Спросила: «Ну как?» Ответил: «Болит». Оставили как есть. А месяца через два кто-то заметил, что там явная кривизна. Этой рукой он и рисовал. Пришлось отвести его в больницу, Fall Clinic. Взяли с нас всего двадцать пять центов за карту и еще пятьдесят центов за осмотр. И пришлось ломать руку заново. Когда ему было шесть, он болел скарлатиной, а в семь мама заставила его вырвать гланды со мной за компанию. Это стоило восемь долларов.

Наконец осенью 1936 года в возрасте восьми лет Энди столкнулся с заболеванием, которое изменило его детство. До открытия пенициллина ревматическая лихорадка часто встречалась у детей, которые жили в антисанитарных условиях, поблизости от трущоб, и небольшой процент заболевших от нее даже умирал. Около десятой доли случаев заболевания перетекали в хорею, часто называемую пляской святого Вита (в честь христианского святого ребенка-мученика из XIII века), болезнь центральной нервной системы. В тяжелых случаях больной терял контроль над конечностями и переживал приступы судорог. Особенно пугало то, что доктора точно не знали, что является причиной происходящего, и могли только успокаивать пациентов и их родителей, что все пройдет и последствий не останется. По сути, самым страшным была психологическая травма, потому что столкнувшиеся с подобным дети зачастую думали, что просто сходят с ума.

Когда Энди заболел, он уже был любимчиком учителей в Холмсе, а тут при попытке написать или нарисовать что-либо на доске рука стала так трястись, что его подняли на смех. Видя, что он боится, его стали зажимать и поколачивать. Годы спустя он рассказал знакомому, что дети его избивали, из-за чего у него начались проблемы в общении. Как отметила Кики Ланчестер, «всегда выбирают слабых». Энди не понимал, что с ним происходит, и снова начал бояться ходить в школу. Все сильнее стал теряться, легко пускал слезу и начал с трудом справляться с простейшими задачами, будь то завязывание шнурков или собственная подпись.

Поначалу дома никто не обратил внимания на эти симптомы, наверное, потому, что Энди и так был очень застенчивым и считался плаксой. И все же, стоило симптомам усилиться, не замечать их уже было нельзя. Он начал глотать слова, перебирать вещи трясущимися руками, теревить все и с трудом сидел ровно. «Наш семейный доктор был славянин по фамилии Зидик, – рассказывает Джон, – но мы никогда его не вызывали, потому что двух долларов было жалко. Обычно просто отлеживаешься в постели, пока не поправишься, а тут мама позвала его к негоднику». Доктор Зидик диагностировал случай пляски святого Витта средней тяжести. Энди на месяц был прописан постельный режим. Врач сказал Юлии, что Энди требуется полный душевный и эмоциональный покой, а также постоянный уход. Юлия переселила его в столовую, поближе к кухне, и посвятила себя выхаживанию сына. Больше всего она боялась, что он забьется в конвульсиях и умрет, как ее маленькая дочка Юстина, потому что внутри все парализовало. При болезни Юлия всегда считала нужным ставить детям клизмы.

Это была золотая пора детства Энди. На целый месяц он смог отгородиться от внешнего мира – школы, братьев, отца, всех, кроме Юлии. Она следила, чтобы его безостановочно развлекал поток из журналов о кино, комиксов, кукол из бумаги и книжек-раскрасок. «Я покупать ему комиксы, – рассказывает Юлия. – Резать, резать, хорошо резать. Резать оттуда картинки. Ох, любил он картинки из комиксов». Она также перенесла из гостиной в столовую семейное радио, которое в редком приступе щедрости недавно приобрел Андрей. Как только руки стали чуть меньше трястись, Энди дни напролет раскрашивал одну книжку за другой, собирал вырезки из журналов в коллажи и играл со своими бумажными фигурками.

Приятель из шестидесятых:

В один из тех редких случаев, когда он рассказывал о своих тяжелых временах, Уорхол вспоминал, как мама читала ему про Микки-Мауса под тусклой лампой в двадцать пять ватт. Еще она рисовала ему разноцветных котов и других зверей, пока они слушали у семейного радио передачи вроде *Suspense* или *One Man's Family*. Его мать была твердо убеждена, что ее мальчик создаст что-то необыкновенное, что-то особенное для этого мира.

Уорхол написал в «Философии»:

Мама, с ее выраженным чехословацким акцентом, изо всех сил старалась читать мне как можно лучше, и я всегда говорил «спасибо, мама», когда она дочитывала «Дика Трэйси», даже если ни слова не понял. Она вручала мне батончик

Hershey за каждую законченную страницу в раскраске.

Я любил Уолтера Диснея. Вырезал фигурки его персонажей. Белоснежка меня особенно потрясла. Но мультфильмы у меня не пошли. Никогда не мог подумать о том, чтобы рисовать правильных персонажей.

Также Энди открыл для себя блистательный мир знаменитостей, роскоши и красоты в журналах о кино, описывавших перипетии жизни звезд в тридцатые детальнее, чем делают в сегодняшней прессе. «Жизнь Марлен Дитрих», к примеру, печаталась в качестве ежедневных комиксов в питтсбургских газетах. Так Энди увидел не только жизнь, казавшуюся ему идеальным местом для побега, но и два места, стоивших пристального внимания: города мечты – Голливуд и Нью-Йорк.

Весь этот поток информации превратил комнату больного Энди в его первую мастерскую. Юлия стала его первым помощником. Она восхищалась его рисунками и коллажами, смеялась над передачами по радио («Она была жизнерадостной женщиной и могла заразить своим смехом», – говорил Джон) и обихаживала его круглые сутки, ночуя в одной постели с ним, а иногда просиживая до утра и оберегая его сон.

Оба брата отмечали, что Энди сильно преувеличивал интенсивность своих приступов святого Витта. Он слег после них только раз, и то был тогда слишком мал, чтобы что-то осознать. По мнению Джона, «это не страшнее ветрянки или боли в горле». Между тем то, как Энди носился со своим заболеванием впоследствии, дает понять, насколько большое значение имело для него произошедшее.

Продержав Энди в постели в течение четырех недель, Вархолы решили, что пришла пора вернуть его в школу. Правда, в назначенный день он заартачился. Стоя на крыльце, схватился за материнский подол и расплакался, потому что не хотел идти. Андрея дома не было, и Юлия не знала что делать. Пол своевременно вышел на крыльцо и наткнулся на Энди, пышущего яростью, как и четыре года назад после инцидента в начальной школе Сохо. «Ему придется в школу пойти», – объявил Пол. Он полагал, что Энди боялся, что его побьют смеявшиеся над ним мальчишки, считавшие его нюней, и это не казалось ему достаточной причиной для того, чтобы оставлять брата дома. Энди завопил.

Заслышав скандал, сосед по дому Джон Элачко, подмастерье гробовщика, вышел на крыльцо посмотреть, что же происходит. Он иногда выступал для мальчишек Вархолов за отца, когда Андрей уезжал, и тут же разобрался в ситуации. По его мнению, Энди был просто неженкой и плаксой, который не хотел идти в школу. Перебравшись через перегородку, отделявшую их крыльцо от Вархолов, он взял его за плечи и прокричал: «А ну иди в школу!»

Колени Энди подкосились, как часто бывает у больных хореей, он упал и отказывался вставать. Схватив перепуганного ребенка за плечи, Элачко потащил его вниз по лестнице.

Энди был очень мягкий, ранимый малыш, артистичный, с тонкой душевной организацией, все такое. Это он от матери взял. Она со всеми была покладиста. Муху бы не обидела и только всех и жалела. Но Энди боялся всего подряд. Я поднял его, и он всхлипнул-взвизгнул раз-другой, ну а я просто отвел его в школу.

«Энди пытался пинаться, – рассказывал Пол, – и тогда сосед схватил его, зажал его руки и ноги и потащил, а Энди все плакал и пытался вырваться. Он не хотел идти, а мы силой заставили его идти. Хуже и не придумаешь, потому что из-за этого у него развился нервный тик».

«Кто ж знал, что он не до конца вылечился, – добавляет Джон. – Сосед просто думал, что он доброе дело делает, когда понес его туда. Помню, доктор сказал, что у него все по новой началось».

У Энди тут же случился рецидив, и его вернули в постель еще на четыре недели. Этот случай на всю жизнь внушил ему отвращение к насилию и сильнейшее желание избегать любого применения физической силы. Лучшим способом привести Энди в бешенство в его зрелой жизни были попытки физически принудить его к чему-либо.

Второй постельный период Энди был совсем как первый. И вновь в волшебной инкубационной неподвижности у него получалось проводить долгие безмятежные часы в мечтах о звездах Голливуда. В этот раз с его подъемом из больничной койки позиция, занимаемая им в семье, изменилась. Доктор Зидик предупредил Юлию, что рецидив весьма вероятен. Болезнь к тому же так сказала на коже Энди, что он мучился с ней до конца своей жизни. Как оказалось, ни с того ни с сего по лицу, спине, груди, руках и кистям Энди пошли крупные красно-коричневые прыщи. Он выглядел еще более уязвимым и вился вокруг Юлии плющом, лишь изредка отходя от нее. Она стала как никогда оберегать его и следить, чтобы никто впредь руку на него не поднял. Теперь Энди выступал в амплуэтакого эксцентричного инвалида, с которым следовало обращаться с особой осторожностью и участием, а братья стали приглядывать за ним в школе. «Что мне непонятно, – вспоминал Джон Вархола, – это как он, вернувшись в школу через несколько месяцев и столько пропустив, смог догнать их».

В «Попизме» Энди сделал самое откровенное заявление относительно собственного детства: «Я... понял, что, злясь и указывая кому-либо, что он должен делать, ничего не добьешься, – и это просто невыносимо. Я понял, что куда проще влиять на других, если просто заткнуться, – по крайней мере, может, в этом случае они сами начнут сомневаться». В то же время новая придуманная жизнь, которую он создавал в своем воображении, придала ему внутреннюю сосредоточенность, сделавшую его увереннее и упорнее в том, что касается его искусства. Стала проявляться двойственность его характера. Оставаясь милым и застенчивым со своими подружками, он при случае строил из себя капризного принца среди семьи. Фрейд отмечал, что «подсознательно мы остаемся в одном возрасте в течение всей своей жизни». Энди, который поляризовал публику как художник в свои лучшие годы, в какой-то мере оставался восьмилеткой, только выбравшимся из паутины болезни и забот.

Это был новый, требовательный, нетерпеливый и порой агрессивный Энди, постоянно дразнивший Пола своим «ну и что ты сделаешь?» и срывающийся в кино каждое субботнее

утро. Фильмы играли важную роль в жизни американской детворы в тридцатые и сороковые, а уж для Энди они были даже важнее, чем для его сверстников. Кино стало его страстью, потребностью, бегством от реальности. Не всегда легко было достать одиннадцать центов на вход, но Энди бился за них с бульдожьим упорством, помогая Полу с Джоном продавать орешки на матчах (получая пенни с мешочка), притаскивая с собой за компанию соседскую малышню в обмен на билет или выманивая деньги у матери.

Энди, идеальный фанат, завел оставшуюся на всю жизнь привычку писать звездам письма, прося о фото или автографе. Если в повседневной жизни он скорее отождествлял себя с девочками, чем с мальчиками, то точно так же предпочел звезде мужского пола звезду женского, чтобы поклоняться ей. В 1936 году, снявшись в «Бедной маленькой богатой девочке», Ширли Темпл стала для Энди кумиром и образцом для подражания. По сюжету героиня Ширли была полностью защищена невероятным богатством своего отца, но тут по воле случая она становится артисткой в кабаре (в восемь-то лет). Она воспринимает все как игру. В этом сюжете раскрыта основная жизненная философия Энди Уорхола: постоянно работай, делай из всего забаву и сохраняй присутствие духа.

Когда Энди послал десятицентовик в ее фан-клуб и получил в ответ фотографию, подписанную «Энди Вархоло от Ширли Темпл», та стала его самым ценным имуществом и жемчужиной его коллекции. Еще он послал туда крышку от упаковки хлопьев и получил синий стакан с изображением Ширли. Как он все повторял за Марджи Гирман, теперь Энди пытался копировать Ширли Темпл. До конца своих дней он имитировал свойственные ей жесты, складывая руки в молитве и прижимая их к щеке или перекрещивая их и держа на поясе справа. Он мечтал выучиться чечетке. Единственное, что ему в фильмах с ней не нравилось, как он делился с приятелем, это регулярное появление в конце ее отца, чтобы забрать героиню Ширли домой. С точки зрения Энди, это разрушало сказку. «В фильмах с ней меня так разочаровывало, когда Ширли Темпл находила своего отца, – говорил он. – Это же все портило. Ей так здорово жилось, била себе чечетку в местном Kiwanis Club или с газетчиками в ратуше. И знать ничего не хочу про ее отца».

К концу 1930 года расстановка сил в доме Вархолов изменилась. Уже некоторое время Андрея потихоньку начало подводить здоровье. Всегда ратующий за порядок, он все еще мог пригвоздить мальчишек одним взглядом и страхом перед ремнем, но Пол, теперь семнадцатилетний и трудившийся на сталелитейном заводе, стал достаточно независим, а Андрей большую часть времени был так утомлен, что после работы только и мог что стоять на заднем дворе и молча поливать из шланга их миниатюрный огород. Юлия умоляла его утомониться. Он накопил около пятнадцати тысяч долларов в почтовых облигациях и на депозитных счетах, целое состояние для человека его происхождения. Пол приносил зарплату в семью, достаточную, чтобы купить маме мебель для кухни и холодильник. Андрею больше не было нужды хвататься за каждую предложенную работу и надрываться по двенадцать часов в день шесть дней в неделю, но он был трудоголиком, и мольбы Юлии не были услышаны.

Пол вспоминал тот момент, когда Андрей собирался в оказавшуюся его последней командировку в Уилинг, Западная Вирджиния:

Он переболел желтухой несколько лет назад, когда удалили желчный пузырь, а с тех пор все было в порядке. А тут весь вдруг пожелтел. Очевидно, у него печень отказала. Мама говорит: «Не ездь в командировку, тебе не надо уезжать».

У тебя хватает денег, зачем едешь?» Но отец хотел пересилить себя.

На шахте в Уилинге многие, и Андрей в их числе, употребляли зараженную воду, и, когда он вернулся на Доусон-стрит с приступом желтухи, ему прописали постельный режим. «Энди был мальчишкой, когда умер мой муж, – вспоминала позже Юлия. – Он ехать в Западную Вир-

джинию работать, ехать на шахту и пить воду. Вода была отрава. Он болел три года. Отравил себе внутренности. Доктора, нет помощи от докторов». Она срывалась на рыдания, вспоминая произошедшее.

Это была сложная, печальная пора для семьи Вархолов.

Как говорит Джон:

Отец был болен и не выходил с 1939 по 1942 год. Он был в себе и при памяти, просто работать не мог. Очень печально все было, потому что он умер всего в пятьдесят пять, а по жизни являлся лидером. Нам всем плохо пришлось. Отец был не слишком эмоциональным или разговорчивым. Особенно пока мы были маленькими, он думал, что мы едва ли заинтересуемся его рассказами о работе, и я не помню, чтобы он с Энди много общался. Не больше, чем со мной, до того года, как он умер. Мне тогда было шестнадцать, и он решил, что будет обращаться со мной, как со взрослым, и много говорил про свою работу.

Чтобы компенсировать потерянный доход, они стали пускать постояльцев, но это только усугубило ситуацию. Пол и Джон начали проводить все больше и больше времени вдали от дома: Джон пытался забыться в играх, а Пол – с девушками. Энди оставался дома с Юлией в течение нескольких следующих лет, тревожных и важных для него. Вступление Америки во Вторую мировую войну после нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года добавило Юлии тревог и всколыхнуло ее страшные воспоминания о Первой мировой. Многих мальчишек по соседству забрали на войну. Вскоре должен был наступить и черед Пола.

Приблизительно того периода сделанная в кабинке на автовокзале фотография Энди, где он выглядит доверчивым и ангелоподобным. «Улыбка у него была прелестная, – вспоминала Кики, – но на самом деле он был серьезным». «Помню все спрашивали: „А кто этот симпатичный маленький блондинчик?“ – рассказывает Джон, – а он все хотел стать высоким. Все пытал меня, когда ему было лет тринадцать: „Когда же я стану с тебя ростом?“ Я отвечал: „Станешь“. Говорил: „Еще пару лет, будешь метр восемьдесят“. Но не вышло».

Пока нить, крепко связывавшая семью, ослабевала, разногласия между братьями усиливались. Смесь отстраненной строгости Андрея и великодушной отзывчивости Юлии подтолкнула их к негласному состязанию за родительское одобрение. Из-за близости с матерью и удаленности от отца, а также потому, что он был еще слишком молод, чтобы решать бытовые задачи, Энди пострадал меньше, чем Джон с Полом, оказавшиеся в ту пору в незавидном положении выслушивающих последнюю волю патриарха.

Андрея больше всего заботило, что будет с заработанными непосильным трудом сбережениями после его кончины. Он знал, что у Юлии голова с цифрами не в ладу, и, оставь он все на нее, неизвестно, чем все кончится. Картины того, как сокровенные накопления для учебы в колледже отправляются в Микову или расходятся между ненасытными Завацкими в Линдоре, стали его кошмаром. С другой стороны, он сомневался и в умении Пола обращаться с деньгами. Стоило тому заработать доллар, как он его тратил и уже тогда приобрел привычку, внушавшую Андрею отвращение, – стал игроком. «Моя мать всегда говорила: „Увидишь, ничего у тебя не будет!“ Говорит: „Только и делаешь, что играешь“». Кроме того,

Пол – старшенький, наследник – уже сумел горько разочаровать Андрея, без предупреждения бросив колледж из страха, что там будут смеяться над его проблемами с речью, проявлявшимися, когда ему необходимо было выступать публично. Молчаливое недовольство Андрея тяжким грузом оседало на плечи Пола, и горечь только усиливалась из-за мучительного чувства долга. Несмотря на грубоватый напор и решимость, Пол пошел в мать, будучи мягкотелым и добрым.

Таким образом, Джон оставался единственным кандидатом, достойным ответственности за благосостояние семьи Вархолов. В 1942 году Джонни, шестнадцатилетний учащийся в школе торговли Конли, радовал отца прилежанием и упорством: «Он видел, как я обращаюсь с деньгами. Наверное, у некоторых это врожденное, просто не умеют их беречь. Он видел, что я шел разгребать снег центов за пятнадцать-двадцать или выгребал золу по пять центов за бушель. Когда мне было четырнадцать, я покупал пакет арахиса и продавал расфасованные кулечки за никель, так даже заработал себе на стоматолога, отец мне его позволить не мог».

В свои последние месяцы на Доусон-стрит Андрей стал говорить всем родственникам, к которым хорошо относился – брату Йозефу, сестре Юлии Марии и, конечно, самой Юлии, – прислушиваться к Джону в финансовых вопросах. Решение сделать Джона в обход Пола главой семьи пустило трещину между братьями, которая так и не исчезла и заставила их вступить в бесконечное соревнование за благосклонность матери. «Мама всегда пыталась дать понять, что „все мои сыновья одинаково мне дороги“, – заявил впоследствии Пол, – но я-то всегда чувствовал, что был ее любимчиком».

То, как Энди в своей взрослой жизни использовал те же механизмы, что его родители для поддержания сыновей в постоянной острой борьбе за внимание, подтверждает, что он, по крайней мере интуитивно, был абсолютно в курсе семейных драм, окруживших кончину его отца.

За день до того, как отправиться в больницу Монтефиоре для анализов, Андрей позвал Джона на заднее крыльцо.

«Он проговорил около двух часов. Говорит, завтра я поеду в больницу и из нее уже не выйду. Он был плох. Не то чтобы там плакал или что-то подобное, просто говорил очень грустно. А когда сказал, что уже не вернется, я перестал слушать, потому что принял близко к сердцу его слова, и все возвращался к ним в уме – „он уже не вернется“ – вот почему я запомнил из всего только его предсказания, потому что все они сбылись. Он говорит приглядывать за матерью и Энди, потому что Пол скоро женится; а насчет Энди говорит: „Ты еще будешь им гордиться, он образование получит, в колледж пойдет“^a. Сказал, что у него достаточно почтовых облигаций, чтобы заплатить за первые два года колледжа для Энди, и добавил: „Следи, чтобы все получилось. Следи, чтобы деньги не потратились на что-нибудь другое. Следи, чтобы счета оплачивались, и мы не потеряли дом из-за налогов“».

В течение следующих пяти дней Юлия, Пол и Джон по очереди посещали Андрея в больнице. Пол Вархола: «За день до смерти у отца был ужасный жар, он очень страдал и попросил меня дать ему глоток воды, а старшая медсестра схватила меня и сказала: „Даже не вздумай давать ему воды! Мы же анализы ему делаем!“». Папа посмотрел на меня так жалостливо и говорит: „Просто губы промочить“. А мне стало так больно, что я и воды ему дать не мог».

«На следующее утро Энди вышел к завтраку и спросил мать: „Зачем ты мне нос перышком щекотала?“

А мама отвечает: „Да я к тебе и не заходила“, – вспоминает Джон.

А тот говорит, что кто-то же пощекотал ему нос, а потом он проснулся, оглянулся и, говорит, заметил какую-то фигуру, выходящую из двери в коридор. Часов через восемь отец скончался, а мама сказала: „Это, наверное, ангел или Бог прощался, понимаете“».

«Я был очень сильно расстроен, – рассказывал Пол Вархола. – Мы думали, он выкарабкается, но, как доктор объяснил, если туберкулез в легких, еще выживают, а тут он уже в желудок попал и захватил все, потому что туда кислород не попадает. Вот что показало вскрытие. Я так досадовал на врачей за то, что они всё брали анализы до самой его смерти, потом ходил к ним и ругался. Говорю: „Ничего вы не сделали, чтобы ему помочь!“».

«Энди, определенно, переживал из-за смерти отца, – вспоминает Энн Вархола (супруга Пола, они поженились на следующий год). – По традиции его отца на три дня выставили в

доме, чтобы ночью с ним кто-то сидел, и его мать рассказывала, что Энди вообще не спускался, пока того готовили к похоронам».

Пол Вархола:

Он просто не хотел на отца смотреть. Когда тело занесли в дом, Энди так испугался, что убежал и спрятался под кроватью. Но мы на Энди сильно не давили после смерти отца, потому что не хотели, чтобы у него случился рецидив. Постоянно боялись, что его проблемы с нервами могут вернуться. Энди начал плакать. Умолял маму отпустить его пожить с Тинкой у тети Марии в Нортсайде или пригласить Тинку к ним, чтобы побыла с ним.

«Он просто боялся спать в доме с трупом, – говорит Джон Вархола, – так что ночевал несколько ночей у тети».

Тинка уточнила:

Я была ему как сестра, и, кажется, ему хотелось быть со мной рядом, ему так легче было. Мы все пришли на поминки и похороны.

Джон Элачко, вызвавший у Энди второй приступ плясок святого Вита, помогал с похоронами.

Я помогал его хоронить. Старики заголосили что-то положенное для оплакивания, с рассказами о жизни усопшего, перекрестив руки на груди и прыгая с ноги на ногу. Юлия Вархола была одной из плакальщиц. Сначала мы отвезли его в церковь, а потом на кладбище, в обычном катафалке, за которым следовала вереница машин. Это были самые что ни на есть традиционные похороны. Наняли несколько больших машин, чтобы все желающие поехали. Людей было много.

Возможно, это были единственные похороны, на которых присутствовал Энди. Его страх смерти привел к полному отторжению всего, что ее касалось. Какие бы эмоции в душе он ни испытывал, они растворились, как только гроб отца опустили в землю чуть покатога пенсильванского склона кладбища Святого Иоанна Богослова в Касл Шеннон. Уже на Доусон-стрит Тинка заметила, что «Энди играл на улице. Он близко к сердцу это не принял». На фотографиях, сделанных у их дома после похорон, Энди выглядит цветущим, словно разом и избавился от какой-то внутренней преграды, и запаса новой энергией, которой будет подпитываться вся его юность. Джон Вархола сказал: «Думаю, если и повлияло что значительное на Энди в его детстве, это была кончина отца».

Несмотря на искренность родственных соболезнований, у некоторых Завацких была болезненная страсть, определенное смакование трагедии, скорее бередившее, а не излечивающее сердечные раны, и Юлии следовало быть осторожной, чтобы не утонуть в скорби своего семейства. «Мне было очень плохо, ничто меня не радовало, – вспоминает Джон. – И чтобы оправиться, потребовалось время. Мы были сплоченной семьей. Мама говорит, что без Энди она бы не справилась. Энди, пока он сидел дома, рисовал и учился, действительно составлял ей компанию лучше, чем смог бы я. Я выходил на улицу поиграть в мяч, а вот Энди почти все время проводил с мамой. Он был с ней очень близок».

Раз Юлия стала лнуть к Энди, как он лнул к ней в годы своего болезненного детства, они оплатили друг другу за взаимопомощь.

Эта связь только усилилась в ходе событий 1942–1944 годов. Жена Йозефа, Стрина, больше всего критиковавшая Андрея при жизни за прижимистость и скаредность, заявила: она считает, что семья должна унаследовать значительную долю его состояния, но Юлия ответила отказом. «Мой муж был хорошим человеком, – сказала она. – Не пьяница. У меня одиннадцать тысяч долларов в банке. Я плачу налоги. Я воспитываю детей».

«После этого мама со Стриной совсем не ладила. Они отдалились», – говорит Пол.

А потом была женитьба Пола. Отца еще не похоронили, а Пол уже исполнил его предсказание, начав встречаться с юной красоткой из соседнего Гринфилда. В апреле 1943 года он спросил у матери, что она думает, если он соберется жениться. «„А это может повлиять на ситуацию? – спрашивает она. – Я у тебя на пути не встану. Хочешь жениться, ну и прекрасной Я говорю: „Ну, жить мы будем здесь же. Будем снимать второй этаж, и я заплачу тебе за месяц вперед“».

Несмотря на старания Пола и попытки Юлии не допустить новое вторжение в ее жизнь, план был обречен с самого начала. Энн Вархола была властной, невротичной женщиной, которая считала, что все должны воспринимать мир ее глазами, и была увлечена религиозными поисками. Все, по ее мнению, должны были искать собственную внутреннюю правду и свободно демонстрировать ее миру. Нет ничего более противного природе Вархолов с их сложными, многоуровневыми родственными связями, полностью зависящими от того, чтобы не говорить, что на самом деле чувствуешь. Ей никогда не нравился Энди, как он считал, потому, что она была первой, кто сразу признал в артистичном тихом мальчике гомосексуала. Они так никогда и неладили, и Энди мучился в ее присутствии. Пол вскоре полностью разочаровался в Энн и проводил как можно больше времени вне дома, работая и встречаясь с другими женщинами. Энн, чья ревность могла сравниться только с ее же пламенной религиозностью, впадала в бешенство, а дом превращался в зону военных действий для деструктивного брака по ошибке. Так Юлия попала в водоворот, к которому не была готова, а Энн, абсолютно не переживавшая за состояние своей свекрови и думающая исключительно о самой себе, заслужила впредь ненависть Энди.

Ситуация только ухудшилась, когда сообщили, что Энн беременна, а Пол, призванный на флот для участия в военных действиях, вскоре оставит ее на попечение Юлии. Беременная и, по ее мнению, покинутая, Энн стала для Юлии еще большим бременем.

К тому моменту, когда ребенок, Пол Вархола-младший, появился на свет в начале 1944 года, стало ясно, что так больше продолжаться не может. Тут роль сыграло состояние здоровья Юлии. Жизнерадостная и стойкая, несмотря на тяготы своей жизни, она все же стала потихоньку сдавать. Какое-то время ее беспокоил геморрой. Ей стало физически тяжело заботиться о состоянии роженицы с младенцем, и, к великому облегчению Юлии, Джона и Энди, Энн съехала обратно к родителям ждать возвращения Пола с флота.

Эта передышка была недолгой. Геморрой привел к такому сильному кровотечению, что Юлию заставили вызвать врача, назначившего множество анализов и вскоре диагностировавшего рак толстой кишки. Ее шансы на выживание были приблизительно пятьдесят на пятьдесят, как он сообщил Юлии и Джону, и шансы эти полностью зависели от ее согласия на операцию, которую начали проводить совсем недавно – колостомию.

Новая беда последовала столь стремительно за пережитыми недавно, что Вархолам некогда было думать о своих чувствах. Раз Юлия была не в состоянии взять на себя ответственность за происходящее, Пол, как старший из ее близких, примчался домой из тренировочного лагеря, чтобы подписать все необходимые бумаги, разрешившие докторам вырезать матери весь кишечник и заменить его специальной сумкой в животе. Мальчикам и Юлии сказали только, что операция необходима и требуется незамедлительно. Джон Вархола:

Мама так полагалась на Господа, говорила не беспокоиться. Думаю, видела выражение моего лица: будто это меня должны были оперировать. «Не волнуйся, – говорит, – я буду в порядке». Не думаю, что сами доктора прямо уж разбирались. Нам всегда казалось, что не надо было ей эту операцию делать. Никогда не забуду, как Энди пришел в день после операции. Первое, что спросил: «Мама умерла?» Печальная ситуация – потерять сначала отца, а через два года... Слишком скоро. Энди было очень грустно. Думаю, связь между

нами с Энди усилилась. Мы старались слушаться маму и просто молились, много молились. Ходили к матери в больницу каждый день. Она провела там почти три недели.

Когда Юлия, едва ли понимавшая детали экстренного оперативного вмешательства, обнаружила его последствия, она была в шоке. По словам Джона, «она была очень слаба и очень расстроилась, узнав, как ей теперь ходить в туалет. Она всегда говорила, что думает, что это все было зря, а кровотечение просто от геморроя». «Все прошло успешно, – вспоминает Пол, – просто после такой операции точно впадаешь в глубокую депрессию. Начинаешь задумываться, а хочешь ли вообще жить?»

До конца своих дней Юлия была убеждена, что рака у нее не было, а операция не была необходимой. Пусть бы и так, но, когда Энди впоследствии пытался уговорить ее на операцию, где бы заменили мешок внутри нее на трубки, Юлия наотрез отказалась: мол, оперироваться слишком больно.

Ее опыт, а также жестокое обращение, с которым столкнулся в больнице его отец, породили в Энди страх перед больницами и хирургами, который в некоторой степени и привел к его преждевременной смерти.

Когда Юлия вернулась домой, Джон перешел на вечернюю смену с четырех дня до полуночи, чтобы проводить с нею дни. Энди возвращался из школы около трех тридцати и беспокоился о ней до самого вечера.

Джон Вархола:

После возвращения домой ей приходилось тяжело, но она поправлялась. Энди много молился с матерью. На самом деле, у меня три его молитвенника осталось, совсем изношенных от использования. Все говорят, насколько мать была важна для Энди, но он был не менее важен для нее. Они были заодно. Энди составлял ей компанию. Он проводил больше всего времени с моей матерью. Очень был с ней близок.

Оказалось, что случай Юлии был столь примечателен, что доктор стал просить ее навещать больных, готовящихся к колостомии, чтобы продемонстрировать им, что и после операции можно жить полной жизнью.

По мнению Джона Вархолы, смерть отца и предупредительный звоночек для его матери имели сильный эффект для укрепления характера Энди. «Нас воспитывали в вере, что молитвы – единственное, что может помочь, и, кажется, когда Энди растерялся и не знал, к кому обратиться за помощью, он стал с Богом ближе».

Образование Энди уорхола 1937–1945

Я просто ходил в старшие классы, колледж для меня ничего не значил.

Энди Уорхол

Пусть Питтсбург и был городом провинциальным, это было отличное место для изучения искусства в 1930-1940-е годы. Карнеги, Меллоны и Фрики были среди крупнейших коллекционеров искусства в мире. Интерес питтсбургских миллионеров к искусству как в эстетическом плане, так и в качестве финансовых инвестиций, заставил их спонсировать художественные конкурсы, центры искусства и бесплатные классы по субботним утрам в Музее Карнеги для талантливых детей со всего города. В пору детства Энди Питтсбург мог похвалиться по крайней мере двумя выдающимися местными художниками: примитивистом Джоном Кейном, которого накрыло лавиной скандала, когда выяснилось, что он рисовал поверх фотографий, и академического живописца Сэма Розенберга, на чьих уличных пейзажах Окленда и Гринфилда выделялись ярко-розовый и красный оттенки города и благородная натура его жителей. Питтсбургская система общего образования специализировалась на преподавании искусства и обладала достаточным числом передовых и увлеченных учителей, которым Энди обязан не только базовыми навыками в его сфере, но и решимостью увидеть в ней свое жизненное призвание. Главным среди них был преподаватель по имени Джозеф Фитцпатрик, который вел субботний курс в Музее Карнеги. Учительница Энди по рисованию в школе Холмс, Энни Викерман, преподававшая с пятого по восьмой класс, пусть и поверхностно, основы египетского, античного, средневекового и современного искусства, рекомендовала его к посещению утренних субботних курсов в 1937 году, когда Энди было девять.

Занятия в Музее Карнеги проходили в двух группах. В одной, «тэмы», в честь родины Эндрю Карнеги, занимались младшие с пятого по седьмой класс. Ученики с восьмого по десятый звались «палитры». Занятия «тэмов» проходили на первом этаже музея в музыкальном зале, просторной комнате с высокими потолками и живописными фресками, похожей на балльный зал. Около трехсот студентов, отобранных в «тэмы», собирались там каждое раннее субботнее утро. Вел эти занятия высокий, импозантный, видный Джозеф Фитцпатрик. Довольно знаменитая в Питтсбурге личность, Фитцпатрик был необыкновенным преподавателем, который оживал, словно ведущий телешоу, стоило ему начать рассказывать со сцены об искусстве. «Смотреть, чтобы видеть, запоминать, радоваться!» – ревел он сверху вниз детям, внимавшим в восторженном безмолвии. Он внушил им собственную веру в дисциплину, изобретательность и значение искусства. «Искусство, – говорил он, – это не просто тема. Это способ существования. Это единственный предмет, который занимает вас с того момента, как открываете глаза по утрам, до того, как закрываете их ночью. Куда бы вы ни посмотрели, будет либо искусство, либо его отсутствие». Он заставлял их учиться внимательности и мог спросить, как выглядел водитель их автобуса сегодня утром. И он наставлял их рисовать обстоятельно, двигаясь от понимания основ живописи и рисунка и только затем придумывая, как этими базовыми формами можно оперировать. Он уверен, что повлиял на Энди: «То, чему я учил, может, и не помогло ему в том, чем он позже занялся, но познакомило его с различными стилями».

Дети рассаживались рядами и работали карандашами на досках из прессованного картона. Каждый описывал, что увидел за неделю такого, что помогло бы ему улучшить свой рисунок с прошлого занятия. На основе своих новых знаний они делали новый рисунок. Темы были простые – кофейник, стол. Смысл курса был в том, чтобы дать ребенку хорошую базу, чтобы они могли заняться любой карьерой в искусстве. Порой приходили местные художники и рас-

сказывали об их собственной технике и отдельных работах. Студенты изучали композицию и пропорции фигуры. Посещали разные выставки в музейных галереях, чтобы связать прослушанное с увиденным. Впоследствии Энди сказал одной из своих суперзвезд, Ультре Вайолет, что занятия создали у него определенное представление о самом себе, поскольку позволили впервые встретиться с детьми не из его этнического окружения и наблюдать, как принято одеваться и разговаривать. Пару раз он упомянул о двух молодчиках, приехавших в лимузинах, один в длинном коричневом Packard, а другой в Pierce-Arrow. Он вспоминал чью-то матушку в дорогих нарядах, сшитых на заказ, и роскошных мехах. В 1930-е годы, когда еще не было телевидения и глянцевого журналов для бедных, как у Энди, семей, а походы в кино были нечастыми, уроки живописи открыли для Энди замочную скважину в мир богатых и успешных. Он всегда помнил, что там *увидел*.

По словам Фитцпатрика, у Энди была своя собственная манера. Его работы несколько не были подражательными, и он постоянно экспериментировал со своим стилем. «Надо быть очень умным, чтобы делать то, что он делал, потому что он был столь своеобразным и обгонял свое время. Я подталкивал его делать то, что хочется. Энди получил премию журнала *Scholastic* – у них была выставка живописи в универсаме Кауфмана, а потом выставка стала общенациональной. Он был потрясающе изобретательным».

Каждую неделю выбирались десять учеников для представления своих работ перед классом. Каждому следовало подойти к микрофону и прокомментировать свое творение. Энди несколько раз приходилось делать это. Он должен был подойти и сказать: «Меня зовут Энди Вархола. Я хожу в школу Холмс, и в моем рисунке я попытался передать...» Худой и бледный, он тушевался, немного сутулился, но, кажется, радовался быть в центре внимания.

«Никого талантливее Энди Уорхола я не встречал, – сказал Джозеф Фитцпатрик. – Он был удивительно талантлив. Сам по себе непривлекательный и даже слегка противный. Мнение других его вообще не волновало. Гигиеной пренебрегал. В то время он был социально неустроенным и не выражал и малейшего дружелюбия. Он вел себя некрасиво с остальными учениками курса и прочими знакомыми. Возможно, ему было неловко из-за отсутствия практики общения, и он пытался как-то это компенсировать. Но с самого начала у него была своя цель. Ее можно было не распознать со стороны, но сам он всегда ее держался».

Какое-то время наблюдая за Энди, Фитцпатрик решил, что тот сознательно придумал свой поведенческий стиль и внешний вид, чтобы привлекать внимание: «Он, кажется, прекрасно разбирался в людях и хорошо понимал, что сделать, чтобы привлечь внимание, которого демонстративно будто бы избегал».

После занятий Энди мог весь день смотреть на картины и скульптуры или читать в библиотеке. Во времена его детства в музее Питтсбурга устраивалась ежегодная международная выставка. За шесть лет посещения субботних классов юный Уорхол познакомился с множеством художественных направлений.

Это был первый шаг в его карьере, он впервые отделился от всех и вступил в иной мир с помощью своего искусства.

В сентябре 1941 года Энди поступил в среднюю школу Шенли. Хоть он и заявлял, что там ему было одиноко и невесело, его школьные дни во многих смыслах прошли плодотворно.

Шенли находилась в двадцати минутах ходьбы от Доусон-стрит. Учащимися были черные, евреи, греки, поляки и чехословаки. Это была школа для недосреднего класса с недосредними стандартами обучения, но с рисованием все было на хорошем уровне. Ходить в школу во время Второй мировой войны было интересно. Жизнь в тылу носила на себе отпечаток общих целей и ценностей, соучастия, даже если оно имело характер всего лишь сбора фольги, покупки марок на военную тематику и ненависти к общему врагу. Среди учеников существовала солидарность, которой в другое бы время и след простыл, так что окружение было не столь пугающим, как могло быть для такого, как Энди. Они пели патриотические песни из «Вашего

хит-парада» и военно-морской гимн по пути в школу. По субботам стекались в кинотеатры, чтобы посмотреть, как Джон Уэйн героически истребляет вражеских солдат. Периодически случались драки между компаниями черных и белых студентов, но в целом атмосфера была непривычно благостная и объединяющая.

Именно тогда в американском обществе выделилась новая группа под названием «тинейджеры». Пока их забрасывали новостями с поля боя, однокашники Энди обретали свой целый новый дерзкий мир с собственной звездой, Фрэнком Синатрой, собственным танцем, джит-тербагом, своими обычаями и формой одежды. Подростки хотели одеваться и выглядеть одинаково, особенно девчонки, все ходившие, как одна, в двухцветных ботинках на шнуровке, с носками, закатанными на лодыжке, и ниточкой жемчуга. Рекомендации по макияжу и причёске заполнили страницы новых, нацеленных на подростков журналов, которым те поклонялись. Вся эта китчевая жизнь разворачивалась прямо на улице Энди и прекрасно туда вписывалась. Уже художником Энди обретет множество поклонников среди подростков, значительное влияние на молодежную культуру и интерес к ней.

С другой стороны, в те годы особое внимание к внешности не могло не выйти ему боком. По результатам национального опроса, прыщи были самой страшной проблемой подростков, а внешний облик Энди был испорчен прыщами и язвами, покрывавшими лицо, грудь, руки... Его маленький аккуратный носик превратился в красноватую луковицу, из-за чего в семье его прозвали Энди Красноносый Вархола. «Его черты лица стали меняться, когда он всерьез задумался о колледже, – вспоминал Джон. – По фотографиям видно. Нос сделался больше. Совсем как другой человек стал. Думаю, он очень переживал, а переживания и стресс сказывались на внешности».

Два эпитета, лучше других описывающие Энди времен учебы в средней школе, – настойчивый и серьезный. К тому моменту целью его действий стало осуществить отцовское предсказание и поступить в колледж. И дома, и в школе он был предельно серьезен на этот счет и почти все время тратил на занятия живописью. «То, как он поборол собственное прошлое своим искусством и талантом, невероятно важно, – заметил один его друг. – Это многое в нем объясняет».

Энди стал очень дисциплинированным и целеустремленным в работе. Его талант признавали как учителя, так и ученики в школе Шенли. Он рисовал маниакально, беспрестанно, замечательно. Рисунки были сложены стопками по всей его комнате. Есть семейная легенда, что Юлия однажды выбросила полную коробку их на помойку, потому что думала, что они для того и собраны.

Джон Вархола:

Энди был так тверд ребенком, так серьезен и спокоен, что я думал, он станет священником, но, наверное, он уже тогда планировал быть художником.

Ли Карагеоргий, который первые два класса учился с Энди, вспоминает, что его талант был достаточно очевиден для других студентов уже тогда. «Он не из тех, кто все делает напоказ, на самом деле, насчет личной жизни он особо не распространялся, но на уроках живописи у мисс Мак-Киббин нам показывали его рисунки. Он ни в каких группах не состоял, был немного особняком и в арт-клуб вступать не стал, потому что его способности и рядом не стояли с нашими. Но никто ему за это ничего не делал и не приставал».

Энди не докучали другие парни в школе. Джон как-то поинтересовался этим, но Энди ответил отрицательно.

Джон Вархола:

Там был паренек, который его прикрывал, ирландец, Джимми Ньюэлл, стал потом полицейским. Это был мой друг, и я попросил его приглядывать за Энди. Самый крепкий был пацан в округе.

На уроках мисс Мак-Киббин Энди не якшался со сверстниками, а сразу шел за парту, брал свои материалы и садился за рисование. Никогда не отвлекался на обсуждение своих работ, только рисовал, рисовал и рисовал. Весь тот период он был очень увлечен и не создавал никаких проблем, но был практически один в те дни. Мэри Эделин Мак-Киббин:

Энди был некрупным ребенком. Бледный, с лицом землистого оттенка, с высокими скулами и выгоревшими песочными волосами почти одного оттенка с кожей. Поначалу задача стояла образовательная и довольно примитивная: смысл был в том, что развитие вкуса – это значительная часть успеха, наравне с изучением самого предмета. Так что они начинали с рисунка и живописи и переходили к другим материалам. Они были ограничены в старшей школе: масляных красок у них не было – слишком дорого, зато были краски плакатные.

В тот период рисование стало для Энди не только способом выделиться в школе, но и возможностью спрятаться. Будь то его комната, аптека *Yoke*, перемена, его всегда можно было найти с блокнотом для зарисовок в руках. Его умения производили на других впечатление. Мальчишки крутились вокруг его рабочего стола дома, то и дело выхватывали сделанный им рисунок и говорили: «Вы только посмотрите, парни!».

Еще живя на Доусон-стрит Энн Вархола заметила:

Приходя из школы, Энди шел напрямик в свою комнату и там работал. Обед готов, мама кричит ему спуститься и поесть. Иногда еду ему наверх относит. Когда же он таки спускался и садился с нами за стол, никогда разговорчивым не был, а если и говорил, то всегда о своей работе, так что никому особо интересно и не было. Он был по уши в своей работе.

Джо Фитцпатрик, который вел утренние субботние занятия по искусству, был преподавателем Энди по живописи в средних и старших классах в Шенли, а теперь стал его наставником. «У Энди были просто замечательные отношения с Джо Фитцпатриком, – вспоминает Мина Сербин, учившаяся вместе с Энди еще с Холмса. – Вечно стояли над рисунками Энди и обсуждали их на два голоса. Очень теплые были отношения. Джо мог заставить его сесть и сделать то, что выходило за рамки осознаваемых Энди способностей. Он ему спуска не давал».

Для всех стало понятно, что Энди собирается делать карьеру в качестве художника, и он стал готовиться к поступлению в колледж.

По воспоминаниям других учеников Шенли, Энди выглядел застенчивым, но вполне нормальным подростком. Его реплика (мол, я не был невероятно популярен, хотя, пожалуй, того хотел бы, видя, как ребята рассказывают друг другу о своих неприятностях, и чувствовал себя покинутым, мне никто не доверился) кажется характерно противоречивой.

«Он выглядел чужаковато, но на самом деле таким не был, – вспоминает один из выпускников Шенли. – Он не одевался экстравагантно. Часто носил любимый вязанный жилет, рубашку с закатанными рукавами и, как и все, двухцветные ботинки со шнуровкой. Но эти его белые волосы, лежавшие прядями или зачесанные назад! У большинства мальчишек были „ежики“, и порой они смеялись над ним, дразня альбиносом. Он был серьезнее большинства из нас, но это не значит, что ему не бывало весело».

У Энди было много друзей, преимущественно девочек. Он близко сошелся с еврейкой Элли Саймон, с которой поддерживал связь в колледже и первые годы в Нью-Йорке. Элли была умной, артистичной и самокритичной – считала, что она страшненькая, – но отличительной

чертой ее была способность к эмпатии. «У Элли был пунктик относительно помощи другим, особенно если у тех эмоциональные или физические проблемы, ее к ним словно тянуло», – вспоминал общий друг. К тому моменту у Энди проблем было полно, и Элли прямо фонтанировала сочувствием. Хотя романтика тут была ни при чем, Энди с Элли стали так близки и проводили вместо столько времени, что Юлия стала ревновать и предупреждала Энди, что пожениться они не смогут из-за разных вероисповедований. Элли запомнила Энди персонажем уже тогда эксцентричным, с характерным чувством юмора, независимой личностью, а не конформистом.

Он все еще был близок с Марджи Гирман, а ее приятельница Мина Сербин была, как и сам Энди, в школьной дружине. Каждый день после школы Энди и Мина патрулировали перекрестки, пока все ученики не покинут территорию. Потом он провожал ее до аптеки Yohe и присоединялся к остальным в их традиционном времяпровождении за поеданием мороженого, слушая музыкальный автомат и бездельничая. У Энди всегда с собой был альбом, где он рисовал, пока другие болтали, он вступал в беседу только насчет наиболее серьезных вопросов, вроде того, кто собирается в колледж и сколько ребят из района погибли на войне.

Мина Сербин:

Энди был не такой, как остальные парни, – он не был грубым или пугающим и никак не хотел задеть. Всегда делал мне комплименты. Я была капитаном команды чирлидеров, пользовалась популярностью, но совсем не красавица, а он всегда отмечал, какая красивая у меня прическа или что цвета одежды мне идут.

В те времена свиданий у нас не было – кто мог их себе позволить? Но мы вместе ходили в боулинг в Окленде, и кататься на коньках, и в кино рука об руку. Однажды, мне было лет четырнадцать, рядом со мной в кинотеатре сел мужчина, положил руку на мое колено и протянул конфетку. Я так расстроилась, расплакалась и рассказала Энди. Помню, он бросился искать того мужчину, будто мог с ним что-то сделать. Готов был защитить меня.

В первые годы его учебы открылась студенческая столовая High Spot, где по пятницам за двадцать пять центов студенты попивали кока-колу и танцевали под музыкальный автомат. Энди играл активную роль в правлении High Spot, и его всегда можно было найти там по пятницам среди прочих. Это была эра биг-бендов. (Тогда в Питтсбурге давали множество концертов, и Энди сходил по крайней мере на один Фрэнка Синатры.) «Джиттербаг у Энди, по-моему, был не очень, но в медляках он был хорош», – вспоминает Мина.

Он достаточно успешно ладил с девушками, чтобы разжечь ревность и в других парнях. Видя его провожающим Мину или Элли до дома, они гадали, как Вархола, с его прыщавой рожей и писклявым голосом, мог так запросто болтать с девушками, которым палец в рот не клади.

С противоречивыми чувствами вспоминал Энди учащийся Билл Шаффер. Его родители были в процессе развода, так что эмоционально он был подавлен и раним. Его много дразнили, потому что он был самым маленьким в классе. Когда Энди проявил участие к Биллу Шафферу и заговорил с ним, пусть их отношения никогда не выходили за стены школы, тому это польстило, так как уже тогда Энди был нерядовой персоной в классе.

Их общение омрачилось для Шаффера, когда Энди стал поддевать его. Это началось в душевой, перед обязательным посещением бассейна голышом.

Все ненавидели этот бассейн, так что целый час просто простаивали под душем. Энди всегда под душем торчал. Он все подтрунивал насчет того, что я был с нижнего конца линейки; в том смысле, что мы с ним оба были обладателями самых коротких членов во всей душевой. Короткочлены

отворачиваются к душе, а остальные выставляют напоказ. Я прекрасно помню, он всегда прятался за душем и никогда в бассейн не выходил. Тело Энди было отвратительное. У него был маленький член и спина горбатая, будто искривлена. Волосы носил назад, нос этот луковицей. Я и не подозревал, что он гей. В то время мы об этом вообще не думали.

Потом в коридорах, проходя мимо Билли Шаффера, Энди тыкал в него пальцем и говорил «хи-хи-хи-хи-хи». Это Шаффера здорово смущало. «Он то и дело говорил: „Шаффер, фу... фу... фу“.

Все глумился надо мной. И другие меня тоже дразнили». Шаффер и Энди ходили в один класс по алгебре, и, когда Шаффера думали отчислять, Энди и на этот счет стал прохаживаться. По мнению Шаффера, считавшего Энди за своего школьного приятеля, это была сторона его натуры. А еще Шаффер был убежден, что тот был антисемитом, что среди его этнической группы было весьма распространено.

Однако репутацию Энди среди большинства подростков в Шенли можно озвучить фразой под его фотографией в выпускном альбоме: «Неповторим, словно отпечаток пальца».

«Я все пытался и пытался по молодости узнать что-нибудь про любовь, а раз в школе ей не учат, обратился к кино, чтобы понять, что же она такое и как с ней обращаться, – писал Энди в „Философии“. – Тогда я таки узнал что-то про киношную любовь, но применить это к реальности с толком было маловероятно. Мама всегда говорила насчет любви не волноваться, главное – обязательно жениться. Но я всегда знал, что никогда не женюсь, потому что не хотел заводить детей. Не хочу, чтобы у них были те же беды, что у меня. По-моему, такого никто не заслуживает».

А в книге «Америка»:

Мне нравилось ходить в кино, и я словно ждал, что фильмы покажут мне жизнь, как она есть. Но то, что они демонстрировали, настолько отличалось от всего, что я знал, что я полностью никогда им и не верил, пусть и было приятно думать, что все в них правда и может случиться со мною однажды.

С самого своего изобретения именно фильмы заправляли всем в Америке. Они тебе покажут, что делать, когда это делать, что об этом думать, как выглядеть и что об этом думать. У каждого своя Америка, и вот уже у всех по кусочку этой воображаемой Америки, которая будто бы существует, но на самом деле нет.

Энди находился под огромным влиянием кино, радио и прессы сороковых и многое извлек из лучших образцов американской культуры того периода. Развлечения во время войны были важны. Фильмы пользовались спросом особенно. Голливудские студии работали на полную мощь, многие выпускали по фильму в неделю. Свинговые ритмы Гленна Миллера, The Dorsey Brothers и Арти

Шоу неслись из каждого радио. Все было большим, драматичным, динамичным и острым.

Практически всегда, пока Энди жил там, в Окланде было всего два кинотеатра, и оба принадлежали Warner Brothers. В 1930-1940-е годы был золотой период американского кинематографа. Будущая классика с ее эффектными углами съемки, контрастным освещением и явной сексуальной подоплекой оказала сильнейшее воздействие на Энди. Царила студийная система, фильмы снимались быстро и за относительно небольшие деньги, производилось огромное количество звезд, чтобы удовлетворить голодную до кино публику. Бинг Кросби, Боб Хоуп, Хамфри Богарт, а также Эбботт и Костелло были выдающимися среди мужчин, Джуди Гарленд, Пегги Ли, Рита Хейворт и Бетти Грейбл представляли женщин, а в 1944 году Энди получил нового звездного ребенка для самоидентификации, когда страстная двенадцатилет-

няя Лиз Тейлор ворвалась на экран в «Национальном бархате» в паре с Микки Руни. К тому же Warner Brothers, пока Уолт Дисней работал над знаковыми мультфильмами, вроде «Фантазии», совершили революцию в мультипликации, представив эксцентрические юморески про Элмера Фадда, Багза Банни, Сильвестра, Даффи Дака, Твити Пая, Тома и Джерри и моряка Полая, которого Энди впоследствии называл своим героем детства. Посещаемость всегда была на высоте.

Аудитория радио была еще шире, а сами шоу – лучшими за все время. Речи Гитлера, страстный и непреклонный голос Черчилля и передачи Эдварда Р. Мароу из Лондона принесли звуки войны в гостиную Вархолов. По словам Мины Сербин, Энди только и говорил что про количество погибших. Его любимым персонажем радиопередач стал Тень, чья коронная фраза была «Кто знает, какое зло скрывается в сердце человека? Тень знает...»

Журналы и газеты процветали, и Энди читал взахлеб, особенно интересуясь фотографиями, которые нередко вырезал и использовал в коллажах и рисунках. Вот где он почерпнул все те образы, которые позже появились в его работах, шокировав и ужаснув людей своим дурновкусием. Хотя новости войны превалировали на страницах прессы, газеты сороковых, совсем как родственники Энди из Завацких, упивались и несчастьями на родине. Истории о смертельных авариях на железной дороге, пожарах в отелях и цирках, землетрясениях, ураганах, эпидемиях гриппа, взрывах и авиакатастрофах были нарасхват, равно как истории о тысячах покалеченных солдат, которыми забивались больницы по всей стране. Фотографии самоубийц (обычно прыгающих из окон женщин) были обычным делом. Есть знаменитый кадр, почти один в один с картиной-катастрофой Энди из шестидесятых, на котором запечатлена дыра между семьдесят восьмым и семьдесят девятым этажами Эмпайр-стейт-билдинг, сделанная взрывавшимся 28 июля 1945 года в здание бомбардировщиком. Пресса смаковала трагедии целое десятилетие, и Энди имел сомнительную честь встретить свой семнадцатый день рождения за чтением заголовка в The Pittsburgh News «Секретная атомная бомба для разгрома япошек» на пару с угрозой президента Трумена «Сдавайся или умри!».

В детстве я никогда из Пенсильвании не уезжал и много фантазировал насчет того, что, по моему мнению, происходит на Среднем Западе, на Юге или в Техасе, пока я не в курсе (пишет Энди в «Америке»). Но жить можно лишь в одном месте одновременно. И твоя собственная жизнь, разворачивающаяся с тобой, не обладает никакой атмосферой, пока не станет воспоминанием. Вот почему воображаемая американская глубинка кажется столь атмосферной, раз собираешь ее воедино из отрывков фильмов и цитат из книг.

И живешь в своей воображаемой Америке, сварганенной на заказ из искусства, соплей и эмоций, словно в настоящей.

Любимчик класса 1945–1949

*Спроси меня тогда, у кого меньше всего шансов пробиться, назвал
бы Энди Вархолу.
Роберт Леннер*

Еще в выпускном классе в Шенли Энди приняли в Питтсбургский университет и Технологический институт Карнеги, который он и выбрал, потому что кафедра искусств там была сильнее. «Энди рассказал, что его приняли, – вспоминает Джон, – но восторга там не было. Энди не из тех, кто свои чувства напоказ выставляет. Он сказал-таки, что рад, но на этом все. Мы испытывали гордость, потому что не знали никого, кто бы ходил в колледж, это было только для богатых семей».

Поступление в колледж стало большим шагом в карьере Энди. В нем заключался шанс выбраться из Питтсбурга, все еще отдававшего шахтой, в хрустальный град Нью-Йорк, и это было отчаянно важно.

Дома дела наладились. Юлия оправилась от шока после колостомии и занялась поддержкой устремлений Энди. Она перебралась из центральной спальни, чтобы у него была лучшая комната для работы в доме, и оплатила первый год обучения из почтовых облигаций, на которые жила. Пока Пол пропал из виду, Джон был главой семьи и оплачивал ежемесячные счета, работая продавцом мороженого в Good Humor. И все же поступление было сопряжено с трудностями.

Выяснилось, что у Энди не было свидетельства о рождении, потому что Юлия не потрудилась зарегистрировать его. Стоило проблеме решиться благодаря заверенной справке, как, по воспоминаниям Джона, «его не захотели брать, потому что он планировал ходить по вечерам, чтобы подешевле, но мать сказала ему снова пойти и согласиться на дневное и дала денег. Думаю, это стоило долларов двести в семестр. Помню, прежде чем пойти договариваться в кабинет к администрации, он встал на колени и вместе с мамой произнес какие-то специальные молитвы».

Карнеги Тех, с его живописным кампусом в Окленде, неподалеку от стоявших рядом особняков питтсбургской элиты, был культурной зоной, четко отделенной от повседневности рабочего города. Корпуса изящных искусств, где располагались кафедры живописи и дизайна, драмы, музыки и архитектуры, представляли собой внушительное квадратное пятиэтажное строение из желтого кирпича с покатой со всех сторон крышей из зеленой черепицы. Ряды больших окон перемежались обвитыми ивняком дорическими колоннами. В просторных, отделанных мрамором коридорах сходились студенты разных кафедр. Их легко было различить по специальностям. Архитекторы были при костюмах, музыканты по большей части пропадали на репетициях, скульпторы, словно троглодиты, в подвалах, пока актеры сутились повсюду, называя друг друга «дорогушами» и пережевывая мельчайшие крупички бродвейских слухов. Студенты живописи и дизайна, в положенных им заляпанных краской джинсах и водолазках, воспринимались преимущественно как самые умные и одаренные, но, так как Тех был в первую очередь инженерной школой, изучавшие искусство, в общем-то, были изолированы от остального студенчества и в полной мере – от реалий жизни в Питтсбурге.

Требования к успеваемости в Техе были высоки, все курсы оценивались, и заниматься всерьез было стрессом. Laborare est orare («Работать значит молиться») – вот девиз школы. Предметами Энди на первом курсе были «Рисунок 1», «Графический и декоративный дизайн», «Колористика», «Гигиена», а также «Мышление и письмо». В той или иной степени проблемы у Энди появлялись со всеми, но беда с предметом «Мышление и письмо» была налицо.

Курс вела Глэдис Шмидт, суровая женщина, единственная в Питтсбурге хозяйка арт-салона и имевшая досадное внешнее сходство с Олив Ойл из мультфильма про Полая. Между тем «Мышление и письмо», на котором студенты посещали поставленные на театральной кафедре спектакли или читали книги, а потом обсуждали свои впечатления и писали интерпретирующие эссе, было занятием популярным и увлекательным. Но Энди, с его акцентом, лексиконом – мог сказать «этт» вместо «это», «тжепел» вместо «ты уже поел?», «ихние» вместо «их» – и неумением писать без ошибок, с самого начала оказался не у дел. Немногие студенты принадлежали каким-либо этническим меньшинствам, а «славяшки» и вовсе были диковинкой.

«Говорили, что его коверканье английского приводило Глэдис Шмидт в отчаяние, – вспоминал один из учителей Энди. – Энди никогда успеваемостью похвастаться не мог, но его мозги тут были ни при чем – с языком проблема была в семье, а еще Энди поначалу сложно было следовать указаниям во всем, потому что он уже был вполне самостоятельным».

Энди никогда не высказывался на занятиях Глэдис Шмидт и был не в состоянии достойно сформулировать свои мысли на письме, зачастую полагаясь на помощь двух однокурсниц: Элли Саймон, которая пришла с ним вместе из средней школы Шенли, и Гретхен Шмертц, изящной разговорчивой дамы, чей отец был профессором на кафедре архитектуры. Гретхен Шмертц описывает Энди того периода как «худого, тихого и очень бледного, словно он никогда не бывал на солнце, к тому же кажущегося слабым; но не думаю, что он на самом деле таким был, потому что всегда выполнял кучу работы, преимущественно по ночам».

Работать ночью было привычкой Энди, приобретенной еще в старших классах из-за боязни темноты и того факта, что в это время его точно никто не дергал. Теперь, когда у него была собственная комната, он мог работать хоть всю ночь напролет.

Девушки помогали Энди с текстами. Они собирались после занятия и спрашивали его, что он думал о заданной книжке или спектакле. Гретхен формулировала его мысли, всегда казавшиеся ей любопытными, на литературном английском, после чего они втроем проверяли работу, чтобы она выглядела, будто написанной Энди. Эта хитрость все же не устраняла трудности, если его вызывали отвечать или при написании экзаменов, что стало серьезной проблемой, потому что, завали он «Мышление и письмо», вылетел бы из школы.

В то же время у него были серьезные конфликты и с учителями по специальности. Кафедру возглавляла группа пожилых академиков вроде его директора Уилфрида Редю и преподавателя анатомии Рассела «Папы» Хайда, которые понятия не имели, что им делать с Энди. Часто его произведения выглядели как сделанные тят-ляп или и вовсе бездарно. Он мог, к примеру, заклеить порванную картонку прямо между двумя фигурками на рисунке или оставить из сентиментальных чувств отпечатки лап своего кота на работе. Несколько раз он приносил что-то совершенно отличное от заданного классу, просто потому, что неправильно понял задание.

Роберт Леппер, преподаватель моложе и либеральнее своих коллег, вспоминает:

Энди был застенчивым парнишкой, у которого нередко были проблемы с учебой. В те годы работа студента оценивалась коллегиально. Поначалу Энди регулярно предлагали исключить из заведения из-за несоответствия стандартам. Только благодаря кому-то из преподавательского состава, состоящего человек из десяти-двенадцати, исключение не поддерживалось как минимум одним голосом, и Энди разрешали продолжить обучение. Приятно думать, что это я всегда голосовал в пику большинству и до того, как он у меня учился, и, уж конечно, после. Как человека я его не знал, только по работам. Мне даже не надо было видеть фамилию, я сразу говорил: «Ага, ну как обычно. Придется повоевать». Он регулярно делил преподавателей на две группы. Одни полагали, что он вообще рисовать не умеет. Другие на раз

наблюдали его одаренность. Энди был любимчиком курса; остальные студенты приглядывали за ним. Маленьким, худосочным парнишкой.

Сначала Энди чувствовал себя не в своей тарелке. Тем не менее он уже знал, что в беде всегда нужно найти сильную женщину для поддержки. Его стратегическим выбором стала секретарь заведующего кафедрой искусств, отзывчивая, волевая, напоминающая Таллулу Бэнкхед миссис Лорин Твиггс. Почти все, познакомившиеся с Энди в его первый год в Техе, отмечают, что он был такой застенчивый, что с трудом говорил. Между тем вскоре Энди-нюня стал ежедневно изливать душу миссис Твиггс. Поддерживая легенду о своей жалкой судьбине, он расписывал, как больна его мать: со всеми клиническими деталями, без какого-либо смущения. Сокрушался, как они бедны и как сложно ему работать дома. Якобы его братья подтрунивали над его желанием стать художником и позволяли своим детям ходить по его творениям. Чтобы проиллюстрировать свое бедственное положение, Энди постоянно ходил в одних и тех же обвисших джинсах, водолазке, изношенном рабочем халате и кроссовках, которые выглядели пожертвованными для бездомных. «Нищета пугала его больше всего, – полагала Гретхен Шмертц. – Мы всегда следили, чтобы ему зимой было тепло. Не о дресс-коде волновались, вопрос был в том, есть ли у него перчатки и нормальное пальто или свитер. Дома я у него никогда не бывала, это было не принято».

Правда же была в том, что мама кормила Энди вкуснейшими с пылу с жару обедами по первому его требованию и топталась в гостиной вокруг него каждое утро, пытаясь заставить надеть шерстяную шапку, чтобы он не простудился. Энди предотвращал эти попытки, лихо скрываясь за дверью, словно один из малышей Катценъяммеров. В конце концов, он согласился принять наушники, но носил их редко.

В последовавшей за войной экономической рецессии работа была нарасхват, и многие возвратившиеся на родину солдаты стали пользоваться своей привилегией в плане обучения в колледже по GI Bill. Раз кафедра искусств мог обучать не более сотни человек, было объявлено, что в конце первого года от тридцати до сорока нынешних студентов будут отчислены, чтобы освободить места для ветеранов. На деле же из класса Энди остались бы только пятнадцать человек из сорока восьми. «Конкурс был огромный», – вспоминала Гретхен Шмертц. Несмотря на ее помощь и помощь Элли, а также содействие нового жильца на Доусон-стрит, миссис Хайат, Энди завалил «Мышление и письмо», да и остальные его оценки были низкими.

Пол Вархола:

Миссис Хайат много помогала ему в его первый год в колледже. Мы сдавали ей с мужем комнату, и какое-то время они там прожили. Она была очень полезна для Энди, потому что сама закончила колледж.

В итоге в конце первого года Энди автоматически отчислили из Карнеги Теха. Услышав эту новость, он разрыдался. На протяжении всей жизни Энди не мог контролировать свою реакцию, если его отвергали, это было одно из немногих явлений, доводивших его до слез. Один из преподавателей, Сэм Розенберг, по словам его жены Либби, «ненавидел существовавшую систему оценок, и особенно его огорчало то, как поступили с Энди. Говорил, что

Энди – рисовальщик лучше не бывает. Сэм считал, что он превосходит некоторых своих учителей, и переживал, когда его чуть не выгнали».

Джон Вархола:

Когда Энди вернулся в тот день домой, он был очень грустный и очень решительный, метался между стенаниями и заявлениями, что поедет в колледж искусств в Нью-Йорк, если его вышибут. Я поинтересовался, как он собирается это проверить, а Энди просто сказал, что справится. Тогда мама сказала: «Ну, давайте немного помолимся, и все утрясется».

Пол Вархола как раз вернулся с флота:

Рассел Твиггс развешивал работы студентов и вместе со своей женой Лорин был доверенным лицом и посредником между учащимися и преподавателями: «В конце первого года на заседании кафедры большинство преподавателей посчитали, что Энди нужно отчислить. Моя жена, стенографировавшая заседание, взяла на себя задачу побороться за него. Знала о нем больше, чем любой из учителей.

Другой преподаватель подтвердил: «Миссис Твиггс, у которой на талант глаз был наметан, сказала: „Он просто пока не раскрылся, слишком еще молод. Позвольте ему прийти после летней школы“». Кафедра постановила, что до конца лета он остается на испытательном сроке и должен подготовить к осени работу, чтобы его восстановили.

Это фиаско так травмировало Энди, что в последующей жизни он или вообще отрицал, что ходил в колледж, или *утверждал*, что толка от него никакого не было. «Они абсолютно ничем мне не помогли», – сказал он Полу, который не смог в это поверить. Тем не менее в летней школе было не так напряженно, и Энди, в компании своей верной Элли Саймон, там расцвел. Он пересдал «Мышление и письмо» и записался на курс анатомии у «Папы» Хайда. Расселу Хайду было уже за семьдесят. Ростом выше метра восьмидесяти, с большой головой с гладко зачесанными седыми волосами, всегда с иголки одетый в тройку, он держался естественного подхода Николаидиса в рисовании.

«Думаю, отношения Энди с „Папой“ Хайдом тем летом имели огромное значение, – заметил один из однокурсников Энди. – По-моему, тогда случилась метаморфоза Энди Уорхола. В ту летнюю школу тот прочитал Энди лекцию. Сказал: „Черт побери, Энди, прекрати рисовать так, будто пытаешься понравиться мне или получить хорошую отметку. Делай как видишь. Не важно, хорошо ли выглядит. Плохо ли выглядит. Делать надо, чтобы тебе самому понравилось. А не сумеешь этого добиться, вообще ни черта не добьешься. Мало ли чего я хочу. Или чего Уилфрид Реддио хочет. Делай, чтобы тебе нравилось, кто бы что ни думал“».

Пол начал новое дело. Продавал с колес в магазине-фургоне фрукты и овощи с доставкой. Дал Энди на лето работу в качестве помощника: три-четыре утра в неделю, три доллара за смену. Они спозаранку загружали фургон на плодовоовощной базе и ехали по заведенному маршруту. Энди бегал от двери к двери, кричал: «Свежая клубника! Свежая кукуруза!» – и собирал заказы, пока Пол был за рулем.

Вскоре Энди стал брать с собой на работу альбом для рисунков. Он зарисовывал все, что видел на продуктовом рынке и улицах, используя освоенную в школе новую технику скоростного рисунка. Он брал ручку и за десять секунд изображал фигуру человека, не отрывая ручку от бумаги. Рисовал людей, стоящих в дверях или собравшихся у фургона. «Это был очень свободный стиль, – отмечал один из очевидцев. – Он рисовал, что видел. Женская нагота, просвечивающая сквозь драную одежду, повисшие на шее матерей младенцы. В очень простой манере он схватывал самую суть этой удручающей стороны жизни».

Энди предъявил заполненный социально-реалистическими зарисовками блокнот на кафедре искусств и был восстановлен в Техе. Мало того, первое, что увидели его однокурсники, вернувшись на осенний семестр в 1946 году, была развешенная подборка рисунков Энди «с колес» в компании с его необычным автопортретом. Эта экспозиция была, по сути, первой выставкой Энди и сделала его знаменитостью на кафедре и в кампусе, когда в школьной газете «Tartan» объявили, что ее наградили престижным призом Leisser за лучшую летнюю работу второкурсника. Сорок долларов премии были первыми деньгами, заработанными Энди на рисовании. Эта награда и наличные, полученные от председателя Реддио в присутствии всего студенческого состава кафедры «Рисунка и дизайна», привлекли к Энди внимание, которое, как заметил Фитцпатрик, тот умел получать, будто бы избегая.

«Думаю, Энди был по природе своей разрушителем основ, – вспоминает одна из немногих черных студенток кафедры, Бетти Эш. – Конкретно в те времена существовал какой-то противоречивый взгляд на то, насколько стоит хотеть выделиться среди других, а насколько – быть в числе прочих и отдавать им должное. Как с Курбе, который пришел от сохи и воспарил с помощью искусства, Энди нес свое плебейское наследие, как почетное знамя. Использование им просторечного жаргона работяг было частью этого процесса».

Самые талантливые студенты кафедры сформировали группу во главе с двадцатичетырехлетним евреем-интеллектуалом из среднего класса, только вернувшимся с войны. Филип Пёрлстайн тоже в детстве учился у Фитцпатрика и вызвал много шума, когда две его картины напечатали в журнале Life, когда ему было еще пятнадцать. Он станет самым близким другом Энди в Техе. Остальными участниками группы были Леонард Кесслер, Артур Элиас, Джек Риган, Джордж Клаубер, девушка Пёрлстайна Дороти Кантор, девушка Ригана Грэйс Хирт, Элли Саймон и Гретхен Шмертц. Каждый из них являлся необычной, интересной личностью в той или иной области, и у них был творческий контакт. Они были шумной, острой на язык, любящей поспорить, одухотворенной бандой. Их серьезность в отношении собственных занятий, сформированная военными годами, была беспрецедентной даже по жестким меркам Теха. Энди они заметили вскоре после вручения ему приза Leisser.

Леонард Кесслер:

Рисует себе ангелоподобный паренек свои прекрасные изящные картинки с ангелочками, ну мы и разговорились. Он никогда не спорил, никогда никого не перебивал. Был мягким и очень добрым человеком, с улыбкой не от мира сего и по-детски наивный, в любой момент готовый выдать что-нибудь чудное. Как-то сидели на травке, а он взглянул на небо и сказал: «Что, если во вселенной *живут* великаны, а мы тут словно муравьи на земле».

Новым друзьям нравились его рисунки. «Рисовал парень как бог, – сказала Гретхен Шмертц. – У него была своя особенная линия, замечательная колючая рваная линия». По словам другой студентки, Лейлы Дэвис, «его работы выделялись, потому что у него, казалось, всегда был свой подход. Его разработка проекта всегда была чуть более своеобразной, чем у остальных». Джек Уилсон, еще один студент, вспоминал, что «Энди был дьявольским коктейлем из шестилетки и зрелого мастера. Беспрепятственно совмещал в себе обоих».

Филип Пёрл стайн:

Всем студентам было совершенно очевидно, что Энди невероятно талантлив. Для преподавательского состава это очевидно не было. Но было это замечательное качество. Энди был совсем еще молодым. Любил посмеяться. Он был очень наивным и, в общем-то, открытым. Словно ангел в небесах в первое время в колледже. Но только тогда. Колледж от такого лечит.

«Он был очень наивным и открытым, – соглашался Джек Уилсон, – но не помню, чтобы Энди когда-либо смеялся. У него всегда было лицо грустноватое. Он был славный, но никогда не смеялся».

Энди их общество очень пошло на пользу. Мог выпустить наружу своего внутреннего плохиша, очаровательного в попытках шокировать этих многое повидавших ветеранов рисунками мастурбирующих и писающих мальчиков. Они, в свою очередь, были очарованы его наивностью и талантом. Вся женская часть группы нянчилась с ним. Вскоре его уже воспринимали как любимчика. То есть он, даже не будучи лидером кружка, каким станет в лучшие годы, всегда был в центре, оберегаемый или лелеемый.

Многие преподаватели Энди на кафедре искусств были рекламными и промышленными дизайнерами. Школа Баухауса, зародившегося в Германии движения во главе с Вальтером Гропиусом и Ласло Мохой-Надем, в основе которого лежало сочетание искусства и технологии,

была особенно на слуху. На кафедре живописи и дизайна верили, что изящные искусства и коммерческое искусство являются частью одного целого, в их общих интересах разрушение барьеров между собой, а студентам говорили, что главное – научиться создавать качественный дизайн. Vision and Design

Мохой-Надя и «Педагогические эскизы» Пауля Клее были двумя основополагающими работами. Баухаус представлял собой образец искусства как бизнеса, многолюдной организации, это запало Энди в душу. Принципы его собственной работы в нью-йоркской студии, на «Фабрике», основывались на подобном подходе.

В период с 1945 по 1949 год, между окончанием Второй мировой и возникновением антикоммунистической истерии, в кампусах американских колледжей наступило время активного интеллектуального познания. Различные социальные и этнические группы пересекались между собой как никогда прежде. Тогда же в почву бросили первые семена движений за эмансипацию женщин и сексуальных меньшинств.

Писатель Альберт Голдман, выросший в Питтсбурге и учившийся на театральной кафедре в Карнеги Техе одновременно с Энди, вспоминал царившую там атмосферу:

Мы презирали популярную культуру. Мы были творцами. Мысль о том, что что-либо популярное может иметь художественную ценность, если речь не шла о духе народном или рабочем классе, и в голову не могла прийти. Искусство это искусство, а всякое барахло – это для Голливуда. Помню, как сходил на A Song to Remember про Шопена, Корнел Уайлд там такое выделял, а Мерл Оберон прохаживалась в этих своих обтягивающих брюках с завышенной талией – ладно, это еще культура, но самой идеи популярной музыки не существовало. Стояла величайшая эра в истории джаза, но ни аккорда джазового не слышно было. Понятно, когда идешь учиться, отказываешься от всего этого ребячества вроде джаза, джиттербага, голливудских фильмов. Можно смотреть экспериментальное кино: как голая девица ползет по столу, берет ключ, кладет его в рот и вся такая странная, это нормально, что бы то ни значило, а вот в обычное кино ходить нельзя, приходилось отказываться. Заходя в Карнеги Тех, перекрываешь за собой все выходы – пошли вы, банальные обыватели, – и воспаряешь на другой уровень бытия. И преподаватели это поощряли. Совсем как немецкие офицеры. Эти люди абсолютно исключительные, это творцы, и принадлежат они совсем другому миру. Потому тот дурацкий фильм, A Song to Remember, и был так важен, что это была вульгарная версия мифа о превосходстве творца над обычными людьми. Мы всерьез верили, что были избранными душами, этими замечательными личностями, а народ вокруг нас такие болваны, что и тратить время не стоит, думая о них. Героями эпохи были Пикассо, Микеланджело и Матисс. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы были абсолютно оторваны от реальности. Не имели ни малейшего представления о том, что в действительности происходило в искусстве или на сцене. Разве кто слышал о Джеконе Поллоке? Искусство было тем, что творится в студиях. Это было очень важное слово – богемный идеал – студия. И вечно эти водолазки, куда без них...

Ко второму курсу Энди таки освоился в своем окружении и избавился от своей застенчивости первокурсника, хотя ему все еще требовалось много помощи с письменными работами. Он вступил в школьный кино клуб Outlines, где показывались фильмы из нью-йоркского Музея современного искусства (МоМА). В клубе также выступали приглашенные лекторы, и Энди послушал авангардную кинематографистку Майю Дерен и композитора Джона Кейджа.

В Питтсбурге был хороший симфонический оркестр, и на его концерты он тоже ходил. А еще Энди увлекся балетом и современным танцем. Хосе Лимон был культурным героем, и Энди с Филипом смотрели каждое его выступление. Приезжала Марта Грэм и произвела на всю группу большое впечатление. Энди очень тронуло ее выступление в Appalachian Spring. Даже фотографировались, изображая что-то в ее стиле.

Энди так интересовался танцем, что пошел еще дальше и стал брать уроки модерна с сестрой Кесслера, Корки Кауфман. Он не был особо ритмичным от природы и страдал от всех этих плие, но дважды в неделю переодевался в трико и присоединялся к девушкам, осваивавшим ритм, пространство и движение в течение целого часа. Он, единственный мужчина, также ходил в женскую группу современного танца в Техеи, демонстративно сфотографировался с ними для выпускного альбома. Через многие годы на вопрос, помнит ли она его, их преподавательница Дороти Кэнрич фыркнула: «Тот чокнутый!».

Его самой большой радостью были вечеринки. В гостиной семьи Гретхен Шмертц или у Кесслеров, раз папа-Кесслер женился и переехал, Энди сидел за столом, прикрывая рот рукой характерным жестом, содранным у его мамы, и прислушивался к разговорам вокруг. «Любил их ужасно, – говорил Кесслер. – Просто обожал вечеринки. Весь сиял. Прямо освещалось его ангельское личико».

Энди никогда не заговаривал о своей гомосексуальности, ни к кому не приставал и, как и большинство учащихся, не имел сексуальных контактов с кем-либо, пока учился в Карнеги Техе. Альберт Голдман:

Перепихи руководство считало чем-то чреватым. За это отчисляли. Поэтому шалили умеренно, да и не было у большинства студентов денег – жили дома с родителями или в крохотных комнатках, которые снимали неподалеку от кампуса у каких-нибудь старых матрон, так куда было пойти? Да и работали круглые сутки. Любого, заговорившего бы в открытую о гомосексуальности, посчитали бы сумасшедшим.

Хотя открытые геи-студенты встречались на театральной кафедре, где манерности было достаточно, чтобы она им сходила с рук, в более пуританской среде кафедры живописи и дизайна неприкрытой гомосексуальности было не место, хотя гомосексуалы присутствовали и среди учащихся, вроде Джорджа Клаубера, и среди преподавателей (таким был, например, Перри Дэвис, новенький, молодой учитель).

Британский историк Джона Костелло писал в книге «Любовь, секс и война»:

Опыт воинской гомосексуальности во Второй мировой ослабил старые запреты. Служившие в тесной близости друг к другу люди столкнулись с фактом, что выбиравшие сексуальные отношения с другими мужчинами не страдали смертельным недугом и не являлись трусами или неженками. Много тысяч гомосексуалов обнаружили новое сознание собственной коллективной идентичности в барной субкультуре и братстве, усилившемся перед лицом требований войны.

Послевоенной реакцией на ослабление морали в военное время стала неизбежная гомофобская кампания.

Бетти Эш отождествляла себя с Энди, потому что, будучи черной, она также была дистанцирована от принадлежавших привилегированному большинству однокурсников.

Были такие, кто сторонился как чумы похожих на геев. Был распространен предрассудок, будто все художники геи, а быть геем неправильно и плохо. Поэтому некоторые переживали с брутальностью, чтобы

избежать любых подозрений в гомосексуальности или даже благосклонности к самим геям.

Всем было вполне очевидно, что Энди являлся геем из-за его манеры одеваться. Носил вельветовый пиджак со стоячим воротником и прикрывал горло нежной рукой. Ходил пританцовывая и шептал «привет!» каждому встречному изумленным, срывающимся голосом. Когда сидел, живописно складывал руки или опирался на ладони.

Бетти Эш:

Думаю, его старались защитить и оградить от тех, кто распространял о нем гадости. Помню, как одна из картин Энди висела на выставке, а я смотрела на нее с восхищением, и был там один парень, который любил сальные шутки рассказывать и насмехаться над всеми, кто, на его взгляд, недостаточно мужественен. Вспоминаю его комментарий: мол, не понимаю, чего все с творчеством этого педика носятся.

Из преподавателей лучше других знал и понимал Энди Перри:

Не то чтобы Энди был осматривателен, просто, наверное, еще в семье у него было представление, как вести себя на улице. И думаю, он бы в определенные районы не пошел из страха, что парни постарше могут его побить. Гомосексуальность на кафедре принимали благосклонно. Но никто всерьез не думал об Энди и сексе, потому что он оставлял впечатление абсолютно асексуальное. Была в нем детская противоречивость. Его же вечно тянуло ко всему ненормальному.

Летом 1947 года Пёрлстайн, Элиас, Джек Риган, Дороти Кантор и Энди сняли студию. Хлев, как они ее называли, представлял собой бывший каретник старого викторианского особняка напротив кампуса Карнеги Теха и обошелся им в десять долларов за два с половиной месяца. У каждого было собственное рабочее место. Чтобы отметить новоселье, они закатили божественную вечеринку с камерным оркестром и крепко засели за серьезную работу.

Арт Элиас:

Тем летом в Хлеву был замечательный период. Это лето все мы решили посвятить рисованию. Мы толком не понимали, что это такое. Все довольно плохо выражали свои мысли. Энди был под значительным влиянием Бена Шана и Пауля Клее. Джек Риган по отношению к Энди вел себя покровительственно. Все из кожи вон лезли, чтобы помочь ему. Он был невероятно пассивным и довел это свое качество до настоящего искусства. Мы оба были весьма застенчивыми, шли как-то через мост Шенли, вокруг затихло все, и тут он говорит: «Развлекай меня».

Они часами обсуждали и комментировали работы друг друга. Энди сделал серию рисунков детей на качелях и мальчишек, ковыряющих в носу. Уже в те годы он был склонен к серийным образам и поглощен анализом разных периодов своего детства. Все они приняли решение посвятить жизнь живописи.

Будущее казалось Энди красочным и туманным. С одной стороны, он был художником. С другой, что вообще такое художник? Президент Трумэн в недавней речи высказал мнение, что все они просто сачки.

У Энди уже появились привычки трудоголика. Пол нашел ему работу киоскера на лето, а босс попался требовательный. По словам Джона, Энди работал до трех ночи, полоская тарелки в ларьке с содовой.

Учась в Карнеги Техе, Энди познакомился с техникой отпечатков, которая стала основополагающей для его нью-йорской карьеры в рекламе на всем протяжении 1950-х. Как именно

он узнал ее, неизвестно. Уилфрид Редно рассказывал о блоттировании на курсе о технических средствах, но Энди говорил, что обнаружил этот прием, когда случайно пролил чернила на бумагу. Похоже, что он взял его у известного успешного художника и рекламщика Бена Шана. Для своих «отпечатанных» рисунков Энди брал два листа бумаги, клал рядышком и соединял скотчем. Потом он рисовал на правом листе. Прежде чем чернила высыхали, поднимал его и переворачивал на левый лист. «Отпечатанная» линия была размазанным отражением нарисованной изначально. Энди нравилось, как это выглядело и та идея, что раз его рука непосредственно не выводила линию на левом листе, который уже станет конечным продуктом, он на один шаг удалялся от получившегося результата.

С самого знакомства с хореей Энди использовал в своих работах журнальные вырезки. В Техе он вырывал страницы из журнала *Life*. Стал приспосабливать их кусочки для своих рисунков-отпечаток. Если там должно было быть кресло, «отпечатывал» его с фотографии. Переносил что-то с нее на рисунок с помощью отпечатка, он на два шага дистанцировался от финального результата. Создаваемое Энди в комбинировании отпечатанных линий и следов от фотографий было напрямую связано с баухаусным подходом к искусству, в котором из работы убиралось все личное, в котором концентрировались на дизайне и стирали границу между рекламой и искусством. В этих инструментах заключены семена, которым будет суждено прорасти в трафаретных шелкографиях шестидесятых.

Впоследствии некоторые преподаватели соглашались, что Энди пришел в Тех со своим собственным стилем и только усовершенствовал его и что он получил от образовательного учреждения исключительно то, что сам взял, а не то, что ему давали. Между тем многие участники группы Пёрлстайна настаивают, что профессор Роберт Леппер, обучавший новичков и специализировавшихся на живописи и дизайне, имел на Энди большое влияние. Сам Леппер придерживался иного мнения, отмечая лишь, что Энди очень хорошо справлялся на его занятиях. Леппер обучал антропологическому подходу в искусстве – что необходимо узнать, как себя чувствовал предмет изображения, прежде чем рисовать его. Энди изображал только то, о чем знал не понаслышке. Леппер задал студентам прочитать современные романы и рассказы и нарисовать иллюстрации к ним. Энди справился с заданием с блеском. Он занялся рисованием и создал серию крупных отпечатанных картин, демонстрировавших глубокое понимание содержания книг, четкое умение видеть в них главное и выбирать образы, которые передавали бы суть. Большое трафаретное изображение персонажа по имени Хьюи Лонг, поднявшего руку в приветствии в нацистском стиле, из романа «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена – общеизвестный пример, эта работа ныне хранится в библиотеке Музея Карнеги. Подобному Лепперу Энди было не научить.

Среди остального преподавательского состава, пожалуй, самым влиятельным для всех честолюбивых молодых художников стал Балкомб Грин, ибо он практически воплощал собой идеальный образец живописца. Высокий, с густыми седыми усами и низким голосом, Грин был похож на Джона Кэррадайна и стал предметом обожания студенток. То, что он был абстракционистом и рисовал ночью – голышом, – только усиливало миф о нем. Отягчающие обстоятельства в виде жены, смуглой скульпторши-конструктивистки, практически полной противоположности своему блистательному мужу, проводившей все зимы напролет в своей студии в Нью-Йорке, делало его более легкой мишенью для безумно влюбленных девчонок.

Серьезный подход к творчеству Сэма Розенберга, Леппера, Балкомба Грина, Ховарда Уорнера, Ферри Дэвиса и Роджера Анлайкера, их глубокий интерес к его работе и их личный пример подтолкнули Энди к восприятию самого себя как художника, а искусства – как потенциальной сферы деятельности. Конечно, пребывание в Техе многое ему дало: культурные занятия в группе Пёрлстайна, слайд-шоу по истории искусства Балкомба Грина и откровенные беседы Перри Дэвиса с Джорджем Клаубером.

Весной 1948 года, имея еще год обучения впереди, Энди, в ту пору девятнадцатилетний, начал свою карьеру в искусстве. Его взяли в оформительский отдел крупнейшего в Питтсбурге универмага Джозефа Хорна разрисовывать витрины. Для него магазин был раем небесным. Вновь Энди оказался в утонченном мире, где его чудаковатая личность и странное поведение принимались за эксцентричные. Он ежедневно красил ногти в разные цвета, перекрашивал один из ботинков или топил галстук в банке с краской. И вновь он смог очаровать всех, пока они и опомниться не успели. Ларри Воллмер, его начальник и единственный питтсбуржец, которого Энди публично признавал своим вдохновителем, был обходительным дельцом и оформительским директором, проработавшим в Нью-Йорке с некоторыми из лучших художников в мире.

Одно лето была у меня в универмаге работа просматривать *Vogue*, *Harper's Bazaar* и всякие европейские модные журналы для одного замечательного человека по имени мистер Воллмер. Получал что-то вроде пятидесяти центов в час, а задача была поиск «идей». Не помню, чтобы нашел или придумал хоть одну. Мистер Воллмер был для меня кумиром, потому что приехал из Нью-Йорка, а это так возбуждало. Впрочем, я и не думал когда-либо сам туда отправиться.

Воллмер рассказал Энди, что однажды они с Сальвадором Дали выставили меховую ванну в витрине Bonwit Teller. Между Дали и Боллмером разгорелся спор, и, когда Дали попытался убрать свое творение, оно оказалось на 5-й авеню, разбив стекло. В последовавшей суматохе Дали угодил за решетку, и из-за полученной огласки его выставка прошла с аншлагом. Этот мастер-класс в отношениях с общественностью Энди запомнил надолго, и от него не ускользнул тот факт, что даже такой недосыгаемый автор, как Дали, может снизойти до коммерческой инсталляции в витрине универмага.

Воллмер был от Энди в таком же восторге, как и Энди от него. Рекламные работы Энди были эклектичными и разнообразными. Его единственным недостатком была медлительность. Самое важное, что он понял у Хорна, – чтобы преуспеть в рекламе, работать придется намного быстрее.

В магазине он также попал под впечатление от бесед с пестрой компанией гомосексуалов. Перри Дэвис:

Когда он работал в универмаге Джозефа Хорна в оформительском отделе, туда приходило много гей-королев, и он очень ими интересовался и всегда был заинтригован их разговорами. Болтали о своих костюмных вечеринках. Порой это были весьма талантливые люди, но Энди бросались в глаза их чудовищные наряды, маньеризм, подобного рода вещи... Студенты всегда воспринимали Энди таким невинным и наивным, а мне казалось, что это не совсем так. Он еще просто не дал себе волю. А потом, думаю, он до сих пор был так предан матери, что обязан был ночевать дома. Ему и хотелось что-нибудь вытворить, но шел домой из чувства долга или уважения, да и любви, наверное.

Тогда Энди впервые заработал достойные упоминания деньги. Купил себе элегантный бежевый вельветовый костюм, который среди его друзей был известен как костюм мечты. Пусть особой практичностью он не отличался, зато давал представление о его зарождающемся имидже художника и денди.

Первые примеры того, как Энди тратил деньги, показывают, в каких он с ними будет отношениях и впредь. С одной стороны, он будет транжирить их на всякую бесполезную роскошь. С другой стороны, станет инвестировать их обратно в творчество. Остаток заработан-

ного он потратил на свою первую поездку в Нью-Йорк для поисков предложений о работе и для знакомства с современным искусством.

В начале сентября 1948 года Энди сложил свое драгоценное портфолио в коричневый бумажный пакет и поехал на автобусе *Greyhound* в Нью-Йорк в компании с Филипом Пёрлстайном и Артом Элиасом в разведывательную операцию по осмотру территории, которую они вскоре планировали захватить.

Энди безбоязненно посетил оба мира, владевших его помыслами. В редакции журнала *Glamour* он получил благосклонный прием у Тины Фредерикс, которой с тех пор приписывают его открытие. Она осталась под впечатлением от портфолио Энди и сказала, что даст ему внештатную работу, когда он выпустится. В Музее современного искусства он впервые увидел оригиналы Пикассо, Клее, Бена Шана и Матисса.

Энди с друзьями паясничал перед камерой около музея и болтался по городу. Джоан Крамер, еще одна студентка Теха, пригласила их остановиться у себя в Гринвич-Виллидже, а Джордж Клаубер, закончивший Тех годом ранее и уже работавший помощником главного художника журнала *Fortune*, позвал их пообедать в дом его родителей в Бруклине. Джордж целый вечер рассказывал о своих успехах, о том, как интересен мир журналов и сколько может добиться коммерческий художник в Нью-Йорке. Предложил помочь с контактами, надумай кто из друзей переехать в город. Энди казалось, что Джордж был знаком со всеми.

Перед самым отъездом из Нью-Йорка он зашел в редакцию журнала *Theater Arts*, где моментально влюбился в крупный план откровенной фотографии с задней обложки первой книги Трумена Капоте, «Другие голоса, другие комнаты», которую только выпустили из печати. Должно быть, Энди подключил все свое обаяние, раз вышел оттуда с фотографией Капоте.

Двадцатидвухлетнего Энди изображение двадцатитрехлетнего Трумена сразу же околдовало. В нем было все, чем хотел обладать Энди. Жил в Нью-Йорке, устраивал обеды для Греты Гарбо и Сесила Битона в квартире своего любовника. Был молод, привлекателен, талантлив, пленителен, богат и знаменит. Энди жил в Питтсбурге, был беден, неизвестен, не уверен в себе и без любовника. Тем не менее чувствовал, что автопортрет тринадцатилетнего Трумена в начале «Других голосов, других комнат» годился и для тринадцатилетнего Энди.

Теперь Трумен Капоте превратился в кумира и ролевую модель Энди, обойдя Ширли Темпл и мистера Боллмера. Энди мечтал сбежать и присоединиться к своему герою в сияющем городе. Едва вернувшись в Питтсбург, он начал писать Капоте фанатские письма, но тот не отвечал. Энди также затеял целую серию трогательных трафаретных акварельных иллюстраций к роману Капоте.

Энди выползал из кокона застенчивости, в который он завернулся семнадцатилетним первокурсником, и в выпускной год увлеченно примерял на себя множество масок в стремлении стать знаменитым. К тому моменту он был героем многих студентов на кафедре искусств, потому что воплощал чувствительного, эмоционального художника.

В кампусе была просторная студенческая столовая, расположенная в бывшем самолетном ангаре, известная как *Beauregard*. В центре этого здания находилось обособленное кафе с пуфиками и музыкальным автоматом. Энди часто можно было обнаружить там, принимающим за столом студентов, совсем так же, как он будет сидеть в клубах и ресторанах Нью-Йорка в окружении своих почитателей годы спустя.

Он превратил манеру «славяшки» в собственный стиль. В своих мешковатых джинсах, в рубашке с расстегнутым воротом или футболке и в громоздких рабочих ботинках Энди являлся примером пролетарского героя, который вскоре воплотили в жизнь Джеймс Дин, Аллен Гинзберг и Джек Керуак. Ребята пересказывали друг другу истории Энди, копировали его голос, гадая, что бы он подумал или сделал в той или иной ситуации. Он стал неформальным культурным лидером и даже обзавелся своим первым полноценным фанатом в лице студента младших курсов Артура Риза.

Перри Дэвис:

Никогда не встречал фанатского обожания подобного тому, какое было у молоденького студента Артура Риза по отношению к Энди Уорхолу. Я очень старался помочь Артуру по нескольким причинам. С самого начала считал, что он гей, так оно и оказалось. Он добился больших успехов на первом курсе. Во втором с ним чуть не случился нервный срыв. Попытался покончить с собой и не сдал финальную работу, так что нам пришлось его отчислить. Когда родители приехали забрать его, то говорили: «Все с Артом в порядке», – а он загружал в кузов свои картины, завернутые в черное. Совсем как на похоронах.

Саморазрушительное поведение Артура повторялось среди последователей Энди и в шестидесятых.

Энди любил вечеринки в мастерских на кафедре искусств, но всегда держал дистанцию. «У нас были такие вечеринки, когда все наряжаются и поют, танцуют, все так по-студенчески, – вспоминает Бетти Эш. – Однажды Энди пришел с желто-зеленым начесом. Кажется, хотел походить на женщину с картины Матисса». (Более вероятно, что Энди изображал персонажа Дина Стокуэлла из фильма 1948 года «Мальчик с зелеными волосами» о юном беспризорнике, которого отвергло общество, когда его волосы чудесным образом вдруг позеленели.)

Бетти Эш продолжала:

Энди на вечеринки ходил, но обычно заканчивалось тем, что он в определенной степени изолировал себя. Как-то вечером на какой-то вечеринке я вышла в коридор и увидела фигуру в тени на одной из узеньких лестниц, ведущих в студии. Энди сидел там в своей типичной позе. Сцепив руки, ладони сжав между коленей, он сидел на ступеньках, прислонив голову к стене. Стоило вечеринке достигнуть накала, когда все думают: ну, наконец-то действительно весело, он стремился скрыться.

Сколько бы разговоров у нас ни было, на всех стояла печать некоей скрытности. Сомнение звучало в его речи, он произносил несколько слов и замолкал, внутренне реагируя на сказанное им самим. И вечно появлялись эти его странные перевертыши, юмористический взгляд на мир, при котором вроде бы лицевая сторона картины мира вдруг становилась изнанкой. Он словно умел видеть вещи сразу с нескольких углов одновременно, но эта его насмешливая черта, серьезность вперемешку с юмором, поражала меня как его характерная особенность. Он заговаривал с каждым, кто просто подходил к нему. Я всегда без проблем общалась с ним один на один в уголке мастерской, где он работал, но он никогда не хотел участвовать в праздных или поверхностных беседах.

Творчество Энди потихоньку стало производить шумиху. Балкомб Грин купил русскую борзую, и это вдохновило Энди на серию собачьих рисунков. На одной из них изображалась женщина, нянчившая младенца, который на самом деле был маленькой собачкой. Энди признался Перри Дэвис, что ребенком всегда чувствовал себя такой собачкой. Когда ему было девять, Вархолы завели собаку взамен кошки. Песик был помесью далматина с чау-чау. Джон, Пол и их друг Гарольд Гринбергер таскали его еще щенком в подвал, где давали выход своей скрытой агрессии и гоняли его пинками. Когда собака выросла, то стала такой злобной, что никто, кроме Юлии, в семье не мог к ней даже приблизиться. Ни Джон, ни Пол и ноги не смели высунуть во двор, когда там был пес, так что в итоге пришлось от него избавиться.

Рисунок повесили на маленькой выставке на кафедре, но сняли по приказу Уилфрида Редю, который посчитал его сомнительным. На выпускном курсе Энди, гуляя по кампусу, просил самых серьезных учащихся на инженерном и из женского колледжа показать языки,

чтобы он их нарисовал. На кафедре искусств поражались, что многие люди согласились. Энди был настолько не представляющим из себя угрозу и комичным, что мог даже консерваторов заставить ослабить контроль. Когда профессор Леппер задал ему сконструировать модель египетской комнаты для его диплома, Энди предъявил ошеломленному учителю глазированной модель дискотеки. Получил «четыре». Самым большим его успехом стал рисунок, озаглавленный «Ковыряльщик в носу».

Каждый год организация под названием «Объединенные художники Питтсбурга» проводила выставку работ местных авторов. Годом раньше Энди выставил две картины. Для экспозиции в марте 1949 года он предложил автобиографический рисунок в напоминающей Георга Гросса манере, с мальчиком, глубоко засунувшим палец в нос. Картина произвела сенсацию среди жюри, в которое входил и сам Гросс в числе нескольких местных академистов. Ровно так же, как Энди поляризовал преподавательский состав в Техе на протяжении четырех лет своей *учебы*, сейчас он поступил и с судьями. Половина считали, что это ужасно оскорбительно, вторая половина, во главе, естественно, с Гроссом, находили работу значительной. В результате их конфликта картину сняли с показа. Подобная цензура была, можно сказать, неслыханной и только привлекла к работе еще больше внимания. Это был первый *succes de scandale* Энди.

Среди разнообразных проектов, подготовленных Энди в течение его последнего, триумфального года в Техе, ему довелось сотрудничать с Филипом Пёрлстайном. Эти два художника, в зрелости ставшие лидерами крупных школ живописи, были полными противоположностями. Пёрлстайн – грузный интеллектual, буржуа и гетеросексуал. Они дополняли друг друга. Пёрлстайн прояснял моменты, по которым у Энди были сомнения, и познакомил его со множеством областей.

Филип Пёрлстайн:

Мы с Энди разделяли некоторые точки зрения. Скажем так, если между творчеством Энди Уорхола и моим и есть какое-то взаимодействие, то это что-то вроде отрешенного взгляда на предмет, без размышлений о его значении, интерес просто к самому объекту.

Энди использовал Пёрлстайна так же, как он использовал все подряд, на полную катушку. Ему нравились люди, которые могли научить его чему-то, и он всегда был очень восприимчивым. Энергия и непосредственность взгляда Энди помогали Пёрлстайну удерживать на плаву и собственные идеи. Они придумали декорации к спектаклю, поставленному театральной кафедрой, с использованием коллажей из газет и подписей. Написали и проиллюстрировали детскую книжку о мексиканском прыгающем бобе по имени Лерой. Когда Энди подписывал ее, то допустил ошибку: «Леори». Обоим так понравилось, что оставили без изменений.

Как стали замечать его друзья, Энди начал понимать ценность своих работ. В конце каждого семестра, когда большинство выкидывали или разбирали собственные творения, Энди продавал ненужные ему для портфолио работы студентам. Он рисовал портреты в питтсбургском Центре искусств и ремесел по пять долларов за штуку, а когда ему предложили семьдесят пять долларов за выставленную на ежегодной экспозиции «Объединенных художников Питтсбурга» картину, оцененную им в сотню, он отказался снижать цену, и работа не продавалась. Это продемонстрировало потрясающую бескомпромиссность в вопросах бизнеса. Семьдесят пять долларов было кучей денег для Энди в 1949 году.

В течение четырех лет в Карнеги Техе Энди сделал несколько серьезных шагов в сторону превращения в Энди Уорхола. Он стал экспериментировать со своим именем. В качестве главного редактора университетского литературного журнала *The Cano* он был Эндрю Вархоллой. В рождественской открытке, придуманной, сделанной и разосланной всем его друзьям, подписанная «Андре», взяв пример с Джорджа Клаубера, прожившего какое-то время в Париже после

войны. Под картиной для выставки «Объединенных художников» его указали как Эндрю Уорхола. Для друзей он был Энди.

Чем ближе был выпускной, тем больше Энди переживал о том, что будет делать дальше. Тут он столкнулся с настоящей дилеммой. Он тревожился насчет того, чтобы оставить мать, и, со своей стороны, Юлия представить себе не могла жизни без Энди. Но что ему делать в Питтсбурге? Какое-то время он всерьез думал над тем, чтобы стать преподавателем живописи в старших классах.

Мина Сербин была на выпускном в отеле Шенли, куда пришел и Энди:

Помню, мы с ним разговаривали насчет его планов, и он не упомянул, что собирается в Нью-Йорк. Сказал, планирует заняться преподаванием, и я вроде ответила ему: «Лучше ты, чем я», – но я знала, как он восхищается мистером Фитцпатриком, и, думаю, ему казалось, что мистер Фитцпатрик такой тип учителя, которым он хотел бы стать, и, по-моему, он представлял себя учителем, потому что не верил, что достаточно хорош, чтобы добиться успеха в Нью-Йорке.

На самом деле, по словам Джона, Энди послал свое портфолио в школу в Индиане относительно вакансии учителя и «был очень разочарован, когда они прислали все назад и сказали, что не могут его взять. Он был очень расстроен и тогда сказал: „Значит, я еду в Нью-Йорк“».

Там жили солидные люди, на которых он хотел равняться. Перспектива переезда в Нью-Йорк была пугающей, но приходилось как-то мириться с этим, если хочешь состояться как художник.

Юлия пригрозила ему, что если он отправится в Нью-Йорк, то закончит, околевав в канаве без копейки в кармане, совсем как Богданский, русинский художник, которому как-то пытался помочь их отец. Она твердила фамилию «Богданский», словно это было проклятие, каждый раз, когда Энди поднимал эту тему. Но друзья подгоняли его ехать. Они верили в него. Знали, что Энди мог справиться.

Трезвый, уравновешенный Филип Пёрлстайн склонил чашу весов в сторону отъезда в Нью-Йорк, когда сказал, что поедет с Энди. Балкомб Грин благословил их и предложил нанять для них дешевое жилье на лето. Наконец, решившись ехать, Энди был невероятно взволнован на этот счет. Только об этом и говорил.

«Помню тот день, когда Пёрлстайн с Энди уезжали в Нью-Йорк, – вспоминал Пол. – Мама не хотела, чтобы он ехал, но и на пути у него становиться не желала».

Перед самым выпускным Энди сыграл в шоу, поставленном клубом кафедры искусств Take It Easel, где несколько студентов разыгрывали скетчи, пародирующие их преподавателей. Пока один из них имитировал Уорнера, читающего лекцию о важности рейсшины, Энди неожиданно ворвался на сцену, размахивая огромными листами раскрашенной бумаги, и станцевал победный танец, распевая песню, написанную Леонардом Кесслером, но с его собственными словами, в некотором смысле пророческими: «О, вам меня не напугать, я полагаюсь на чувства. Это мое призвание. О, вам меня не напугать, я полагаюсь на чувства...»

Глазами меня целуй 1949–1952

Голубой мечтой любого с факультета живописи и дизайна было отправиться в Нью-Йорк и завести студию. Слово «студия» было очень весомым, куда более весомым, чем слова «секс» или «трахаться», потому что подразумевало под собой саму жизнь, да вообще все! Самые талантливые и независимые люди могли приехать в Нью-Йорк летом и переснять у кого-нибудь студию с общим туалетом за восемнадцать долларов в месяц.

Альберт Голдман

Биограф Трумена Капоте Джеральд Кларк сказал о Нью-Йорке, который Капоте взял штурмом, опубликовав свой роман в 1948–1949 годах:

Манхэттен был неоспоримым центром всей планеты... Политические решения принимались в Вашингтоне, но все остальные решения, имевшие значение для Соединенных Штатов, включавшие распределение денег и славы, а также признание литературных и прочих художественных достижений, принимались на этом каменном острове, этом бриллиантовом айсберге между рек... Восемь главных газет придавали всему происходившему в пяти районах, сколько бы банально то ни было на самом деле, солидное и значительное звучание, пока целый батальон сплетников-колумнистов заставлял город выглядеть меньше, чем он был, своей захлебывающейся болтовней о знаменитостях и о тех, кто хотел бы ими стать.

Для английского критика Сирила Конолли, писавшего для британского журнала Horizon, Нью-Йорк был «величайшим мегаполисом современности... бесконечно надменным и энергичным». Самому Капоте он напоминал «жизнь внутри электрической лампочки».

Через неделю после окончания Технологического института, в июне 1949 года, Энди Вархола и Филип Пёрлстайн переехали в квартиру в самом сердце Нижнего Ист-Сайда с видом на парк Томпкинс-сквер. Это была душная квартирка на шестом этаже без лифта, заселенная тараканами, только с холодной водой, с ванной на кухне и туалетом в чулане, располагавшаяся на площади Святого Марка в славянских трущобах, еще более убогая, чем те, в которых Энди родился в Питтсбурге.

Учитывая, что собственные траты он свел к минимуму, скопленных двухсот долларов, которые Энди привез с собой, должно было хватить на лето в Нью-Йорке в те доинфляционные годы. Кроме того, в вопросах поиска работы, которая бы его кормила, он ставил на портфолио с рисунками, над которым он работал в течение двух предшествующих лет. «Когда мы приехали в Нью-Йорк на поезде, – вспоминал Пёрлстайн, – он уже освоился со всеми этими изысканными модными журналами тех лет и подготовил просто блестящее портфолио».

Пёрлстайн также надеялся, что сможет достаточно зарабатывать в рекламе, чтобы поддерживать его более значительные, перспективные устремления. Его предрасположенность к реализму и портретной живописи уже была очевидной, пусть и демонстративно не сочеталась с направлениями, избранными художниками действия, – Джексоном Поллоком, Виллемом де Кунигом и Францом Клайном, – которые получали известность как художники героического склада среди своих современников. Критики сваливали в одну кучу все «сплошные» картины Поллока с его лирически расцвеченными красочными брызгами, яростных «Женщин» де Кунига и клайновские огромные черно-белые полотна с работами радикальной группы

абстрактных художников, в которую входили такие важные авторы, как Марк Ротко и Барнетт Ньюман, концентрировавшиеся на «цветовых полях», объединяя их в некое направление, абстрактный экспрессионизм, хотя между самими художниками не было согласия относительно того, что бы это определение значило.

The Cedar Tavern, где зависали абстрактные художники, находился на Университетской площади, в шаговой доступности от квартиры Энди и Филипа, и уже был тайно знаменит порой жестокими, с порчей стульев, ссорами живописцев. Хотя Пёрлстейн мог примерить на себя внешний интеллектуализм абстракционистов, характеризуемый, пожалуй, слегка завышенным уровнем самооценки, что иллюстрировалось часто цитируемым утверждением Барнетта

Ньюмана, что художники «ставят памятники самим себе», но он едва ли стал бы их последователем. Что касается Энди, несмотря на то что влияние абстрактных экспрессионистов было чрезвычайно сильным и на его творчество, и на поп-культуру в целом, богатырский мир The Cedar Tavern был не по нему. Его куда больше вдохновляло драматическое искусство Теннесси Уильямса и в значительной степени гомосексуальный театральный мир, чем истеричные подтеки Джексона Поллока, которых он не понимал, и макистское царство, заселенное абстрактными экспрессионистами.

У Энди и Филипа никогда не было денег, как и у абстракционистов, которые, вопреки своей растущей славе, были еще далеки до финансового признания. Хотя арт-дилер Бетти Парсонс считала, что это было «волшебное время» и что Поллок «высвободил воображение Америки и вызволил ее жажду творчества», биограф Роберта Раушенберга Кэлвин Томпкинс писал: «Климат в начале пятидесятых все еще был очень неблагоприятным для современного искусства». Как вспоминал Пёрлстейн, хотя «шансы добиться чего-то в качестве художника равнялись нулю», коммерческое изобразительное искусство было под рукой, особенно в журналах и в рекламных областях, которые и сами находились в процессе собственной революции. Раз Америка стала самой перепроизводящей страной в мире, реклама расцвела в упаковке, оформлении и продаже продуктов, которые сами по себе были неотличимы от продукции конкурентов. За первые годы десятилетия суммы, потраченные на рекламу, выросли приблизительно до девяти миллиардов долларов – по пятьдесят три доллара на каждого мужчину, женщину и ребенка по стране, а нужда в образах, склонявших бы к покупке, была безгранична. В то же время во многом благодаря значительно увеличившемуся количеству иллюстрированных рекламных объявлений журналы были на подъеме.

Мир коммерческого изобразительного искусства был могущественным и высокомерным – «народ был самой самодовольной, недоброй и пьющей компанией людей, которую только можно вообразить», по словам одного ветерана мира моды, – но Джордж Клаубер, Энди и друг Филипа из Теха уже доказали, что перспективы могли быть радужными для тех, у кого есть талант, хоть немного вкуса и умение подсутиться. Правда, Клаубер был ловким, умеющим умаслить ньюйоркцем. А что было делать Энди?

На второй день в Нью-Йорке Энди пошел провести в просторном здании Conde Nast на «рекламной аллее» в центре Мэдисон-авеню художественного редактора журнала Glamour, Тину Фредерикс, с которой познакомился в свой краткий приезд годом ранее. Он держался непринужденно, кисти висели обмягшие, и говорил срывающимся шепотом. Фредерикс была заинтригована его личностью и тем, как в его рисунках соединялось коммерческое и чистое искусство. Она даже купила за десять долларов небольшой рисунок оркестра для себя, но предупредила Энди, что хоть он и очень одаренный, одаренных она каждый день встречает. «Мне нужны рисунки туфель, мистер Вархола, – сказала она. – Нужны завтра утром в десять. Можете?»

«Знала бы она, на какой кладезь наткнулась, – прокомментировал случившееся один из друзей. – Энди не просто любил туфли. У него пунктик был на ступнях».

Ответив, что сможет нарисовать все что угодно, Энди на другое утро вернулся с рисунками. Фредерикс была заметно удивлена, увидев, что он изобразил туфли поношенные, выдавшие виды, с едва угадываемым сексуальным флером. «Они были восхитительными, но не для продажи туфель», – вспоминала она. Тина объяснила, что Glamour требуется что-то с четкими, жесткими линиями, а туфли должны выглядеть новыми. Той ночью при незначительной помощи Пёрлстайна Энди сделал еще один набор рисунков, которые привез в редакцию поутру. В этот раз Фредерикс купила их для журнала и дала ему второй заказ, не представляя, что за процесс запускает. Туфлям Энди суждено было стать его визитной карточкой как рекламного художника. Хотя на тот момент самым важным было его счастливое знакомство с Conde Nast в ту пору, когда их продукция, включая помимо Glamour еще Vogue и Vanity Fair, устанавливала новаторские тенденции в графическом дизайне.

Небанальная внешность Энди производила не меньшее впечатление, чем его специфическая манера блоттирования. «Причешись! Надень костюм!» – торопил его Пёрлстайн, когда они осуществляли свои налеты на Нью-Йорк, таща свои портфолио в ежедневный обход по художественным редакторам рекламных агентств и журналов, чьи имена им дал Клаубер. Вместо этого Энди носил богемный наряд из рабочих штанов, хлопковой футболки и изношенных кроссовок, подсмотренный им в значительной степени у Марлона Брандо, и таскал свои рисунки в бумажном пакете, выглядя, как отметил какой-то приятель, «словно сочинил собственную роль в пьесе Трумена Капоте».

Друзья прозвали его Тряпичный Энди, но его образ ранимого простачка и богемная неискушенность вкупе, как сформулировал позже какой-то критик, с «неумолимой любезностью и умением принижать себя» обеспечивали ему теплый прием у художественных редакторов, особенно женского пола. Как-то раздавал дешевые букетики каждой секретарше, которую встречал. На вопрос смущенной получательницы: «Я чем-то это заслужила?» – Энди отвечал: «Нет, просто вы милая барышня». В другой раз, просиживая часы в редакциях журналов в надежде случайно пересечься с занятым директором, он выполнял поручения, таскал кофе и пончики и завоевывал расположение всех, кого только можно, на любом уровне организации.

Это были золотые времена модных журналов, когда они, как написал Джеральд Кларк, чей герой Капоте стал звездой именно благодаря им, были «самыми актуальными печатными изданиями Америки и привечали все новое и дерзкое». Горстка авторитетных художественных редакторов и дизайнеров европейского происхождения продвигала новое, сложно устроенное, наследующее баухаусу коммерческое искусство, на удивление графически и изобразительно живое. В таких условиях талант Энди к рисованию был незамедлительно признан, а его нестандартная индивидуальность пришлась ко двору. Художественных редакторов также поражаало, насколько Энди, казалось, наслаждается своей работой. В отличие от большинства рекламных художников, которые считали, что prostituteуют собой, он каждое задание превращал в праздник. «Он оставлял впечатление, – вспоминал Джордж Клаубер, ставший его главным приятелем в Нью-Йорке (Энди как-то сказал, что это Клаубер его „придумал“), – страстного, заинтересованного человека, который замечательно рисовал». Через несколько дней после прибытия Энди в город начальник Клаубера, Уилл Бёртон, среди статусных клиентов которого была корпорация Upjohn Pharmaceuticals, заказал тому разработать дизайн обложки одного из буклетов для аптечной сети. Вскоре поступили еще заказы от журналов Charm и Seventeen, а также серия обложек альбомов для Columbia Records.

Хотя позже Энди и скажет: «Я никогда ничего не хотел. Даже двадцатилетним надеялся, что, может быть, когда-нибудь стану успешным и очень знаменитым, но не задумывался об этом». Пёрлстайн запомнил его «трудоголиком, который садился за стол и трудился весь день и зачастую до поздней ночи, делая по несколько версий одних и тех же заданий, предъявляя потом их все художественным редакторам, за что его особо ценили... Он не был тем вопло-

щением зла, каким его пытаются представить. Его талант – вот на что следует обращать внимание».

И пока портфолио Энди идеально соответствовало требованиям журнального мира, Филип подошел к делу осмотрительно, и практически сразу выяснилось, что он как иллюстратор на фрилансе ничего не добьется. Вместо этого он устроился на полную ставку к графическому дизайнеру Ладиславу Сатнеру делать схемы и макеты канализационных и вентиляционных каталогов в течение дня, чтобы трудиться над собственными картинами вечерами, пока Энди выполнял свои рекламные задания на жаркой, закоптелой кухне.

Несмотря на присутствие Пёрлстайна, Энди то лето запомнилось одиноким. «Я приходил домой и рад был пообщаться даже с тараканчиком. Здорово было, что хоть кто-то тебя встречает, а потом наутек». Один из кульминационных моментов саги Тряпичного Энди случился, когда он представлял свои работы в Harper's Bazaar элегантной гранд-даме модной журналистики, Кармел Сноу, и тут из них выполз таракан. «Ей стало так жалко меня, – рассказывал всем Энди, – что предложила мне работу».

Он оставлял у редакторов впечатление, будто целиком получал удовольствие от работы, но, когда его одноклассник по Теху Джек Риган с женой Грэйс заехали к Филипу и Энди домой, чтобы пообедать с ними, по пути в Лондон, куда Джека отправили по программе Фулбрайта, им показалось, что Энди мучается. Он жаловался, как высока конкуренция и что его не берут и не ценят художественные редакторы. Из-за своего питтсбургского акцента и неграмотной речи Энди чувствовал себя аутсайдером в романтическом, обеспеченном и элегантном мире, куда так стремился попасть.

Даже будучи в сотнях миль от него, в Питтсбурге, мать Энди и религиозность, которую она ему привила, стали его главной поддержкой в первые нью-йоркские годы. Энди ежедневно посылал Юлии открытку со словами: «Я в порядке и снова напишу завтра» – и заглядывал в церковь два-три раза в неделю, чтобы помолиться об успехе.

Его пугала конкуренция, и в не меньшей степени родственники бередили его страхи своими суевериями и обреченностью. «Что же тут поделаешь? – спрашивал старший брат Пол у их матери. – У них там миллион художников в Нью-Йорке! Достанется же ему!»

«Господи, Господи, помоги моему мальчику Энди, – молилась Юлия. – У него нет работа». И отправляла письма в ответ, прикладывая долларовую купюру и пятидолларовую, когда получалось.

Шестого августа 1949 года Энди исполнился двадцать один год.

К концу лета Glamour впервые опубликовал рисунок Энди с девушками, взбирающимися по лестнице, в качестве иллюстрации к статье под названием «Успех – это найти работу в Нью-Йорке». В подписи его имя значилось как Энди Уорхол, с ошибкой (по его словам), и именно его он с тех пор и использовал.

Срок их субаренды подошел к концу, и тогда, согласно Пёрлстайну, «мы смогли отписаться нашим родным в Питтсбург или нью-йоркским друзьям, что переехали из одного гадюшника в другой». По объявлению в New York Times они нашли большую комнату в конце чердака над стоянкой для грузовиков по Западной двадцать первой улице, 323 в районе Челси на Манхэттене. Проживавшая в мансарде Франческа Боас, танцевальный терапевт, работавшая с дефективными детьми, переделала ее в сцену с порталной аркой в глубине и украсила помещение этническими музыкальными инструментами, собранными по всему миру ее отцом, антропологом Францом Боасом. Сама жила за аркой с другом по имени Ян Гай и огромной экзотической псиной по кличке Кличка, Энди же с Филипом обитали в передней части мансарды. Клаубер пришел их там навестить и был неприятно поражен. Пожалуй, это местечко было, по его мнению, даже большей дырой, чем их квартира на площади Святого Марка. Он считал,

что Филип и, в особенности, Энди были слишком трепетными и возбужденными, чтобы заниматься ей.

«Франческа нами заинтересовалась, – вспоминал Пёрлстайн. – Наверное, мы оба были достаточно чудаковатыми, но

Энди ее просто заинтриговал. На протяжении всей той зимы она активно подталкивала его „раскрыть себя“, и он потихоньку преображался в Энди Уорхола из Энди Вархолы». Между тем Энди не переставал метаться и путаться в собственных желаниях.

Другой приятель из Теха, Джозеф Грилл, стал свидетелем, как он обзванивал как-то редакции. Представлялся, заявляя: «Здравствуйте. Это Энди Уорхол. Я посеял в парке канареечник. Не хотите заказать канарейку?» И далее странным писклявым голосом информировал, что идет дождь, «а у меня дырка в ботинке, и может, у вас для меня есть работа?» Чаше всего случалось, что собеседник отвечал отказом, тогда Энди говорил: «Ну, значит, сегодня на улицу не пойду». Повесив трубку после одного из таких звонков, он обернулся к Грилли и сказал своим нормальным тоном: «Ну что за ерунда? Не хочу так выделяться».

Дни на 21-й улице быстро превратились в рутину, вращающуюся преимущественно вокруг работы. Пёрлстайн уходил на службу, пока Уорхол подыскивал новые заказы, которые выполнил бы ночью. Филип Пёрлстайн:

Он внимательно изучал опубликованные материалы насчет качества исполнения собственной работы и применял результаты такой самокритики в процессе выполнения следующих заданий. В другой части комнаты я занимался живописью каждый вечер после рабочего дня в офисе Сатнера. Я ставил свои пластинки – Бартока, Стравинского, Малера и Facade Уолтона, где Эдит Ситуэлл читает свои стихи. Это была у Энди любимая. А Малера ненавидел. Как и Франческа Боас, которая предпочла бы, чтобы у нас вообще стояла тишина.

Одной из серьезнейших проблем была непрекращающаяся борьба с тараканами, полюбившими черную краску, которая использовалась для шрифтов. Энди ежедневно выставлял пустую лимонадную бутылку после ланча, а к вечеру они набивались в нее битком.

Иногда вечерами, когда они были при деньгах, покупали стоячие билеты на бродвейские спектакли вроде «Смерти коммивояжера» или «На свадьбе» или шли в кино, по большей части смотрели ретроспективы на 42-й улице. Продолжительных или интеллектуальных бесед они не вели, но годами позже Пёрлстайну вспомнился один разговор. Энди возмутится, что увиденный ими фильм был ужасен. Пёрлстайн ответил, что нельзя быть настолько плохим, чтобы уж совсем ничего интересного не нашлось. Энди не ответил, но Филип был уверен, что его слова произвели на него впечатление, слишком уж похожи они на то, что Энди впоследствии говорил о собственных фильмах.

Неизвестно, правда ли, что успех Энди в коммерческом искусстве и относительная неудача Филипа повлияли на их отношения, но между ними пошла трещина. Всезнайство Филипа стало действовать Энди на нервы. В их воскресные визиты в музей Энди напоминал Филипу недовольного ребенка, сопровождающего папу в мероприятиях, которые чадю абсолютно не интересны. Он бесился, когда они выходили не на той остановке метро, потому что Филип всегда утверждал, будто знает, где они находятся. «Я знал, что не наша остановка!» – воскликнул бы Энди. А он и правда знал, но никогда ничего не говорил.

К исходу осени 1949 года остатки их группы из Теха – Кесслеры, Лейла Девис и Элли Саймон – переехали в Нью-Йорк, и все пошло, как прежде, стали часто встречаться. Никто из них не казался знающим свои планы на будущее: Кесслер добился небольшого успеха в иллюстрировании детских книжек, Лейла Дэвис работала в ювелирном магазине в Гринвич-Виллидже. Их образование не только вооружило их замечательными умениями в дизайне, но и в

некотором смысле сбило с толку: как еще воспринимать искусство, если не как способ заработка? Энди не особо видел разницу между своими рекламными и художественными рисунками; окружающие говорили, что ему не следует разбрасываться своим талантом и надо больше рисовать. Какая-то критика донеслась даже до друзей, оставшихся в Питтсбурге. Бетти Эш прокомментировала: «Наверное, это частично разочаровывало: ну уж если Энди стал работать обычным рекламщиком, а значит просто проданся, тогда он не лучше всех нас?»

«Произнесено было слово „проституция“», – вспоминал его старый учитель Перри Дэвис.

Энди был прекрасно осведомлен об этом недовольстве, но, кажется, реагировал на него совсем иначе, чем рассчитывали его недоброжелатели. Встретивший его в ту пору приятель заметил: «Насколько я могу судить по своему опыту общения с людьми,

Энди был уникален тем, что, кажется, понимал: он всегда будет вызывать раздражение людей. Он знал это задолго до того, как это произошло, или даже был настроен этого добиваться».

В марте 1950 года Уорхола, Пёрлстайна, Боас и Гая выселили с мансарды на Западной двадцать первой улице. Хотя Филип и Энди и оплачивали их субаренду Франческе, арендодателю денег не доставалось. Раз Филип был на пороге женитьбы на своей девушке еще с колледжа, художнице Дороти Кантор, они с Энди разъехались. Энди всегда было трудно поддерживать близкие отношения с людьми после того, как те вступали в брак, потому что ему требовалось нераздельное внимание, но Дороти сама была подругой по Теху. На их свадьбе присутствовали несколько друзей, включая Энди, который поддерживал с Пёрлстайнами дружеские отношения еще несколько лет.

Через Лейлу Дэвис Энди организовал переезд в центр на первый этаж дома 74 по Западной 103-й улице, неподалеку от Манхэттен-авеню близ Центрального парка, в квартиру с двумя спальнями, которую арендовал танцовщик балета Виктор Райлли и заселял сменный состав из шести постояльцев одновременно. До ошарашенных обеспокоенных друзей Энди в Питтсбурге дошел слухок, что тот съехался с танцевальной труппой. Это был переходный период знакомства с богемным миром людей танца и театра. С ними ему было легче, чем с интеллектуалами вроде Пёрлстайна, и впервые Энди начал пробно изучать гомосексуальный андеграунд.

Женскую спальню в конце коридора делили между собой Марджери Беддоус и Элейн Бауманн, обе танцовщицы, а Лейла Дэвис, Энди, Виктор и еще один танцовщик театра балета, Джек Бибер, соседствовали в мужской, где Энди организовал себе под ярким освещением небольшой чертежный столик с аккуратно разложенными карандашами, чернилами и кисточками, в непосредственной близости с вечно не заправленными постелями. Он полюбил работать в людном помещении. «Невыносимая картина, – вспоминала Лоис Элиас, жена Арта, зашедшая в гости тем летом. – Помню только, что Энди сидел там и рисовал, а вокруг полный хаос, и народ выделяет вещи, которые вроде бы должны разрушать любую концентрацию. Еда вперемешку с одеждой».

«Страннее места я не видывал, – согласился Клаубер, – темновато, пусто, никакой мебели».

Ребята были задорными и дружелюбными, ведущими образ жизни, который позже Энди опишет так: «Совсем как богема в „Моя сестра Эйлин“» (мюзикл о двух сестрах из Огайо, одна красивая, другая умная, приехавших в Нью-Йорк в поисках славы, богатства и мужчины и арендовавших квартиру на первом этаже в Гринвич-Виллидже). Они ужинали спагетти, ходили на фильмы с Джуди Гарленд, Фредом Астером и Джин Келли и подпевали хором Кэрол Брюс, исполняющей их любимую *Bewitched, Bothered and Bewildered*. Они есть на серии кадров, сделанных Лейлой Дэвис: лопают рожки с мороженым и дурачатся на улице под растяжкой «Все мы любим наших матерей». Единственное, чем среди них выделяется Энди, это двигающиеся неумело руки и кисти.

Он называл Лейлу «мамочкой», а Элейн «малышкой», а они по очереди заботились о нем и проверяли, кушал ли он. Из-за того, что он завел привычку делать много работы ночью, начал спать допоздна днем и зачастую не шел к завтраку до самого полудня, и к тому же был настолько неопределенным в своих предпочтениях в еде, что Элейн однажды настолько распереживалась, что кинула в него яйцом. Они хором расхохотались, когда оно разбилось о его щеку и потекло вниз по шее.

Несмотря на товарищескую атмосферу, Энди писал двадцать пять лет спустя:

Я все жил с кем-то, полагая, что мы могли бы стать близкими друзьями и делиться своими бедами, но всегда оказывалось, что их интересует только твоя доля в аренде. В какой-то момент я жил с семнадцатью соседями в подвале на Сто третьей улице у Манхэттен-авеню, и ни один из семнадцати проблемой со мной не поделился. Я тогда очень много работал, так что у меня вряд ли было время выслушивать эти жалобы, даже Расскажи они мне о них, но я все равно чувствовал себя одиноким и уязвленным.

Подобное стало сюрпризом для его многочисленных соседей, не забывших, как они готовили ему еду, стирали его одежду, водили на вечеринки, в кино и на танцевальные представления, выслушивали его жалобы на работу и его мать, позировали ему. «Уж мы поплакались друг дружке в жилетку, – вспоминала Лейла Дэвис. – Совершали долгие прогулки по Манхэттену, через парк, и устраивали пикники в Палисейдсе, и он казался всем увлеченным. Он был очень неискушенным и наивным, а трудился на совесть и постоянно таскал свои работы по рекламным агентствам в округе. Он впадал в уныние, но не сдавался. Не думаю, что хоть что-то было важнее его работы».

Остальные друзья считали его эксцентричным, манерным, милым и обаятельным, но чудовищно застенчивым. Кажется, все, что он когда-либо сказал при всех, было «привет!» шепотом, а так он просиживал все время в помещении, рисуя, словно робот, пока вокруг шла беседа. Согласно Элейн Бауманн, он «просто сидел и наблюдал, словно находился вне своего тела. Он был косноязычным, абсолютно не умеющим формулировать свои мысли юношей. А еще благоговел перед знаменитостями. Писал фанатские письма Трумену Капоте и Джуди Гарленд. У него дыхание спиралось, когда видел „Того“ или „Этого“». Энди испытывал такой трепет перед звездами, что, когда одну из их частых вечеринок на выходных посетил Хёрд Хэтфилд, сыгравший в фильме «Дориан Грей», просто уставился на него и шептал, не веря собственным глазам: «Хёрд Хэтфилд!». В другой раз, когда оказался сидящим в кино рядом с Марлен Дитрих, он еле выдохнул Лейле: «Марлен Дитрих!».

Уже тогда, как заметил Джордж Клаубер, Энди, кажется, верил, что в соприкосновении со знаменитостями есть какая-то магия:

Больше, чем кто-либо из моих знакомых, Энди жаждал встретить знаменитостей. У него страсть была к успешным и известным людям. Когда он впервые приехал в Нью-Йорк, почему-то думал, что я со многими знаком. И постоянно умолял меня представить его кому-нибудь знаменитому.

«Любой, чье имя было на слуху, являлся знаменитостью, – добавляла Марджери Беддоус. – Слышал имя знаменитого стоматолога и уже готов был бежать».

К этому моменту Энди воплотил одну из своих задумок, ставшую серией впечатляющих рисунков на разворот в технике отпечатка, иллюстрирующих пьесы Жироду и Уильяма Инге и статью о Лорке в журнале Theater Arts. Они схватывали двойственную сексуальную природу персонажей в изысканной воздушной манере. Как-то один художник-иллюстратор увлеченно наблюдал за тем, как работает над иллюстрациями Энди: «Он скреплял два листа бумаги вместе изолентой, образуя дверцу, потом рисовал на этой дверце коротенькую линию и промакивал ее о рабочую поверхность, поднимал, рисовал еще и вновь промакивал». Пусть процесс

был совсем не простым и требовал для осуществления определенной ловкости и вкуса, он проходил достаточно быстро, чтобы позволить Уорхолу выполнять свои рекламные заказы за одну ночь, придавая им индивидуальности.

Клаубер, который, по представлению Энди, трудился в светском рекламном-оформительском кругу и у которого тот постоянно выпрашивал приглашения и контакты, видел в нем «этакого нытика, жалующегося, мол, раз я таким занимаюсь, можно и ему прийти? А мне особо нечем было ему помочь, на самом деле моя помощь ему не требовалась. Он уже был в деле и весьма самостоятельным. Считал почему-то, что я вел куда более экзотичную жизнь, чем это было на самом деле. Иногда я мог взять его с собой в номера в Восточном Хэмптоне на выходные. Как-то приехал ко мне в гости с Элиасами в Кейп. У него была проблемная кожа, так что на солнце не мог находиться, иначе сильно обгорал в момент. Смотрелся эксцентрично в этих штанах хаки и белой рубашке под огромным черным зонтом над головой, рассекая по дюнам. Зрелище было еще то. Но он был самим собой и нисколько не смущался этого».

Энди очень много времени проводил за работой, оттачивая свои навыки и экспериментируя с новыми выразительными средствами. Тина Фредерикс настояла, чтобы он пошел к офтальмологу за специальными очками. Зрение у него было не очень и от напряжения только ослабевало. Новые очки были с очень толстыми линзами и делали его еще большим фриком, чем обычно, но он прилежно носил их.

Энди заполнил целый альбом рисунками своих соседей и местной кошки. Еще он нарисовал несколько больших полотен на холсте, которые потом уничтожил. Один из них стал предвестником его будущей серии картин-катастроф. Это была ужасающая и в то же время удивительно декоративная картинка, выполненная в пастельных тонах с использованием техники промакивания. Она была навеяна старой фотографией из журнала Life, сделанной Вонгом: плачущий младенец с обугленной кожей, в разодранной одежде, с распахнутым в немом крике ртом, сидящий среди развалин шанхайского Южного вокзала после японской бомбежки в 1937 году. Подпись в Life утверждала, что фотографию, перепечатанную разными источниками, увидели около ста тридцати шести миллионов людей, она, без сомнения, привлекла внимание Энди не в меньшей степени, чем изображенное на ней. Ему также импонировало шокирующее воздействие снимка, но, вероятно, работа затронула те струны его души, которые он не хотел демонстрировать, чтобы не обнажать чересчур собственную уязвимость, так что оставил картину в пользу более декоративных изображений вроде пышных ангелочков и бабочек. Имитируя в компании с акробатами и воздушными гимнастами он и заполнил трехметровую стену спальни в квартире родителей Элейн Бауманн, которую те позже закрасили.

Когда здание на Манхэттен-авеню объявили к сносу осенью 1950 года, коммуна распустилась, а Энди остался с огромным телефонным счетом на его имя, который не мог оплатить. Он съехал с очередным однокашником из Теха, художником Джозефом Гриллом, который жил на Восточной двадцать четвертой улице. Когда Грилл вернулся на несколько месяцев в Питтсбург следующей зимой, Энди впервые в жизни оказался живущим сам по себе.

К началу 1951 года он добавил себе в копилку авторство иллюстраций для обложек издательства New Directions и впервые «появился» на телевидении: журнал Art Director and Studio News в представляющей его статье под названием «Энди: перспективный художник», сообщал, что Вальтер ван Беттен использовал рисунки Уорхола в качестве рекламы в программах NBC, и Энди просыпался в пять утра, чтобы ему загримировали руку. Ее, рисующую карту погоды, показывали в утренней программе новостей.

Еще он сделал вызывающий рисунок молодого моряка, склонившегося на колени и вкалывающего себе в руку героин, опубликованный 13 сентября 1951 года на целом развороте в газете New York Times в качестве рекламы криминальной радиопередачи под названием The Nation's Nightmare. Этот анонс, за который он заработал больше, чем за что-либо сделанное к тому моменту, привлек к Энди много внимания. Иллюстрацию воспроизвели на обложке пла-

стинки с записью программы, а впоследствии, в 1953 году, Энди получил за него свою первую золотую медаль ADR of New York – «Оскар» рекламной индустрии.

Иллюстрация к The Nation's Nightmare была более традиционной, чем прежние рекламные рисунки Энди в начале пятидесятых годов для нацеленных на сенсацию печатных средств массовой информации и печатной рекламы, на которые пришлось значительная часть становления Энди как художника. Темная сторона коммерческого искусства – использование рекламных образов, заигрывающих с латентными агрессией и одиночеством, честолюбием и сексуальностью, задокументированное Венсом Паккардом в его книге «Тайные манипуляторы» – в будущем станет темой самых знаменитых картин Уорхола в стиле поп-арт. Из-за заправлявших миром гламура женоненавистников и гомофобов, как писал Маршалл Маклюэн, «секс приобретал преувеличенное значение за счет привязки его к рыночным механизмам и обезличенным техникам промышленного производства». Следовательно, «доминирующая модель» иллюстративного жанра в популярной прессе представляла собой «смесь секса и технологий в окружении образов безумных скоростей, неразберихи, насилия и случайных смертей». В тот период сенсационные фотографии в журналах, вроде той в Life, где женщина выпрыгивала из окна, достигли пика популярности. Эти тенденции не будут в полной мере достоянием общечеловечности, пока Уорхол не завершит свои самые известные поп-работы в начале шестидесятых.

Его следующим большим заказом было проиллюстрировать «Этикет» Эми Вандербильт. Теперь он достаточно зарабатывал, чтобы позволить себе новый костюм от Brooks Brothers и пальто, которые надевал вечерами на выход, тем не менее усердно поддерживая свой образ замухрышки для рекламных директоров. Если верить нескольким его старым питтсбургским друзьям, которые все больше критиковали его по мере достижения им успеха, он порой брал совсем смешные деньги за свои рисунки, если журнал, например, дополнительно соглашался опубликовать его короткую биографию.

Несмотря на то что успех обеспечил его новым чувством *уверенности* в себе и постоянно увеличивавшимся притоком денег, Энди все больше сталкивался с, как он называл их всю свою жизнь, «мальчишковыми бедами».

Хотя он никогда не делал гомосексуальность темой бесед с друзьями – для Энди характернее было в разговоре вытягивать любые детали личной жизни у друзей, чем раскрывать свои, – его смятение, коренившееся во все усиливающемся конфликте между желанием вступить в романтические отношения с другим мужчиной и практически непреодолимой неспособностью сделать это, было особенно заметно для тех его друзей, вроде Клаубера, кто был к Уорхолу близок и разделял его так называемые «мальчишковые беды». Несмотря на всю клауберовскую браваду, быть геем в Америке пятидесятых, где гомосексуальность была вне закона, а геев считали больными и «невероятно отвратительными паразитическими особями», было горько. Господствующая политика очернительства наглядно была продемонстрирована в докладе, изданном подкомитетом Сената, возглавляемым Джозефом Маккарти. По иронии судьбы этот доклад был по проекту махрового, но латентного гомосексуального юриста Роя Кона, где провозглашалось, что «гомосексуальность и другие сексуальные извращения» представляют «риск для безопасности» и «неприемлемы» для государственных служащих. «Один гомосексуалист, – предостерегал доклад, – может заразить все правительственное учреждение». Подобная охота на ведьм для рекламного художника была менее опасна, чем для чиновника, но угроза физической расправы – будь то нападение на улице или полицейская облава – висела над всем гомосексуальным обществом.

Для Энди, как и для остальных, «голубой» круг общения, процветавший в андеграунде Нью-Йорка и все больше становившийся частью его повседневной жизни во время проживания на Манхэттен-авеню и после того, был способом выжить. И вновь Джордж Клаубер стал

его проводником. Клаубер был знаком не только с нужными людьми на нужных постах в мире рекламы, но и с удаленными гомосексуальными анклавами, стильными барами вроде Regents Row и, что важнее, салонами в квартирах интерьерных дизайнеров и художников по декорациям, где Энди, вечно уговаривавший Клаубера взять его с собой, стал частым гостем. Нью-йоркская гей-сцена в пятидесятые сильно отличалась от того, во что она превратилась впоследствии. Один участник вспоминает:

Подполье все еще вызывало ужас и неприятие, но являться подпольем не было тяжело или страшно, это очень расслабляло. В тусовке было немало людей, и было много-много вечеринок. Это было десятилетие вечеринок, там все и знакомились, такого больше не было никогда. Все было невероятно естественно и, пока не трогали натуралов, совершенно замечательно.

Жизнь заменила чувство изолированности ощущением коллективной тайны.

Как ни посмотри, гламурность этого секретного мира привлекала Энди куда больше, чем все предоставляемые им возможности для налаживания сексуальных контактов. В этом смысле он был очень осторожным. Как многие геи, Энди переживал, что он не здоров, эмоционально ушиблен, как, между прочим, психиатры и говорили, и мучился тем же подавленным гневом и сомнениями, что «нормальные люди» (то есть гетеросексуалы) счастливее его. Его проблемы с самопрезентацией только усугублялись болезненной щепетильностью по поводу собственной внешности. Волосы быстро редели, кожа все еще покрывалась коричнево-красными и белыми прыщами, стоило ему понервничать, а новые очки с толстыми линзами с крохотной дырочкой, через которую можно было сфокусировать зрение, заставляли его чувствовать себя еще более чудным, чем прежде. Хотя его приятель вспоминал: «Я всегда считал его достаточно привлекательным парнем и не понимаю, почему другие смеялись над его внешностью», – а фотографии тех лет это подтверждают. Энди же самого себя считал чмом.

Несмотря на это, Джордж Клаубер находил его достаточно интересным, чтобы мечтать о романе с ним. Энди не ответил взаимностью на его авансы, и у Джорджа возникло «представление о его недоступности, неприкасаемости». «Целуй меня глазами» было одним из его любимых выражений. Клауберу казалось, что Уорхол полностью избегал интимных отношений. Вместо этого Энди истязал себя влюбленностями в вереницу красивых, но малодоступных молодых людей. Как заметил один товарищ, «он более-менее рассчитывал быть отвергнутым этими красавцами, в которых вечно влюблялся. У него был такой подход: „Разве они не прекрасные создания?“ Просто хотел смотреть на них, быть рядом, восхищаться ими. Он не в постели с ними хотел оказаться. Он был чересчур для этого стыдливый. Он был как на конкурсе красоты».

Во главе списка красот Энди был Трумен Капоте. Весь первый год в Нью-Йорке он почти ежедневно писал Капоте фанатские письма, сообщая, что он в городе, и интересуясь, можно ли нарисовать Трумену портрет.

«Я никогда не отвечаю фанатам, – позже вспоминал Капоте, – но безответность писем Уорхола, кажется, нисколько не тревожила. Я стал его Ширли Темпл. Спустя какое-то время я стал получать от него послания каждый день! Пока я не стал чувствовать перед ним вину. А еще он начал присылать мне эти рисунки. Совсем ничего общего с его более поздними. Они достаточно буквально иллюстрировали мои истории... по крайней мере, так было задумано. К тому же, кажется, Энди Уорхол припирался к дому, где я жил, и болтался вокруг в ожидании увидеть, как я вхожу или выхожу из него».

Месяцами позже Уорхол набрался храбрости позвонить Капоте узнать, получил ли он его рисунки, и попал на Нину Капоте, мать писателя. Она пригласила его в свою квартиру на Парк-авеню. На месте Энди быстро понял, что миссис Капоте была больше заинтересована в собутыльнике, чем в осмотре его работ, и они направились в бар Blarney Stone на 3-й авеню.

Там они накидались «ершей», и Нина пространно стала рассказывать о проблемах Трумена и о том, каким разочарованием для нее он стал. Когда же они вернулись в ее квартиру, пьяная Нина Капоте стала внимательно выслушивать обо всех проблемах Энди.

За этим Трумен их и обнаружил, вернувшись в квартиру около полудня. Не желая быть грубым, он сел и выслушал историю Энди, которая показалась ему прискорбной. «Он казался одним из тех несчастных, у которых уж точно ничего никогда не получится». Позже Капоте сказал: «Просто беспросветный неудачник, самый одинокий, покинутый человек, которого я когда-либо встречал». Тем не менее после того визита, когда Энди стал названивать ежедневно, Трумен отвечал, и разговор целиком концентрировался на делах Энди. Его телефонный роман с Труменом вскоре был прерван, когда мать Капоте взяла трубку и заявила ему: «Хватит беспокоить Трумена!».

«Как и у всех алкоголиков, в ней были свои Джекилл и Хайд, – рассказывал Капоте, – и хотя она была в целом человек доброжелательный и считала его очень милым, сорвалась». Ошарашенный и опечаленный, но с детства привыкший слушаться маминых указов, Энди прекратил писать и звонить Трумену.

Энди оживленно рассказывал друзьям о других, столь же недостижимых, безумных влюбленностях в танцовщиков Джона Батлера и Жака Д Амбуаза, в фотографа Боба Эллисона и еще в целый выводок безымянных красавцев. Порой он заявлял, хоть никто и не верил, будто ему накануне «порвали очко», «оттрахав по полной». Даже в коммуне на Манхэттен-авеню его странная личная жизнь характеризовалась исключительно вуайеристским интересом к сексу и он начал рисовать обнаженные мужские фигуры и манерные, стилизованные рисунки гениталий, которые, как утверждал, собирал для «Книги членов». Порой он спрашивал у людей, можно ли нарисовать их ступни. Поразительно: многие, говорят, шли на поводу у его просьб, и он нарисовал сотни членов и ступней, впоследствии собранных в «Книгу ступней». Энди был типичным фетишистом ступней и находился в считавшихся среди его друзей ненормальными эротических отношениях с собственной обувью, которую вечно носил стоптанной сзади и разваливающейся от дыр в подошве, а спереди иногда торчали его пальцы. Позже, когда секс у него таки случался, он находил целование обуви своих любовников особенно эротичным.

Среди позировавших ему регулярно был Роберт Флейшер. Флейшер, выделявшийся кустистыми рыжими усами элегантный персонаж, закупал канцелярские товары для универмага Bergdorf Goodman и подрабатывал моделью. Его познакомила с Уорхолом Элейн Бауманн еще в квартире на Манхэттен-авеню. Впоследствии Флейшер заказал Энди рисунки бабочек для оформления канцелярского отдела Bergdorf Goodman, что оказалось обескураживающе сложным для Энди, который, кажется, был не в состоянии аккуратно выровнять ацетатные листы, разделявшие цвета. Пусть впоследствии это и станет его отличительной чертой, пока она вызывала лишь раздражение и требовала корректировки перед печатью. Так или иначе, эта пара подружилась.

Поначалу, как и многие другие, Флейшер испытывал «огромное желание защитить это бедного наивного сиротинушку, который бы иначе пропал в большом городе», но затем понял, что Энди использовал свою беззащитную позицию, чтобы манипулировать людьми, особенно после того, как принялся рисовать целую серию подчеркнуто непристойных портретов Флейшера и его любовника, словно проверяя, до чего ему позволялось дойти, и заодно прощупывая границы их дружбы. «Энди несколько раз рисовал нас за этим делом, – рассказывал Флейшер историку искусства Патрику Смиуту. – Энди очень возбуждался. Присоединяться не присоединялся, но смотреть любил. Ему нравилось рисовать меня обнаженным и видеть меня с эрекцией, но он никогда до меня не дотрагивался, да я, наверное, никогда и не вел себя так, чтобы он мог себе это позволить или решил, что я в физическом смысле им интересуюсь, потому что я не интересовался. Как-то он сказал, что так возбуждился, видя мужчин с эрекцией, что

сам мог дойти до оргазма. И тогда начал раздеваться: „Ничего, если я в трусах порисую?“ И порисовал».

В собственной странной манере Энди стал раскрываться. Если в Техе какая-то часть его натуры наслаждалась, шокируя однокурсников, это и в сравнение никакое не шло с тем, что он учудил на вечеринке у Балкомба Грина в Питтсбурге. «Там была стайка студентов, – вспоминал Перри Дэвис, – а он зашел и говорит: „Так, раздеваются все, у меня с собой альбом“». Роберт Флейшер рассказал Патрику Смиту, что, когда коммуна с Манхэттен-авеню разъезжалась, родители Элейн Бауманн устроили у себя Хеллоуин, куда должен был прийти и Уорхол в компании нескольких бывших соседей:

Время все шло и шло, и тут вдруг в полночь – они сделали так сознательно для эффектного появления – звонят в дверь, а потом заваливаются, за руки, у каждого на шее огромная вырезанная ромашка, и гирлянды несут, словно на школьном выпускном. Они пришли с ромашкой – а так в те времена групповухи назывались. Все просто попадали в истерику.

Их хохот для Флейшера был унижительным. Может, по идее Энди это и была шутка, тот же почувствовал себя выставленным на посмешище.

Пока Энди жил один, у него появились весьма доверительные отношения с телефоном, которого впоследствии он называл своим лучшим другом. Телефон стал не только его связующей линией жизни с финансовыми и арт-директорами, но и волшебной машиной, позволявшей вести более интимные разговоры, чем он смог бы лично. Из-за того, что Энди боялся спать один, но не мог делить постель с кем-либо, телефон был его идеальным компаньоном и в кровати. Клаубер, который тогда с ума сходил по юноше с именем Фрэнсис Хьюз, уже ждал от Энди регулярного звонка среди ночи с расспросами о произошедшем накануне.

Это был большой опосредованный роман Энди. Парень уходил около двух ночи, я тут же обсуждал с Энди случившееся. Ему нужны были все детали, ну, я и рассказывал. Прослушивание этих историй делало его счастливым: «Еще рассказывай, рассказывай еще». Он был настоящим вуайеристом и из тех людей, которые наслаждаются замещением собственных впечатлений чужими. Потом я познакомил его со своей второй настоящей любовью, Ральфом Томасом Уордом (Корки), и, кажется, Энди в Корки влюбился.

Уорд жил на Юнион-сквер с мужчиной постарше, Аланом Россом Макдугалом (Дуги), секретарем Айседоры Дункан. Высокий, гибкий, талантливый поэт и художник с кудрявыми темными волосами, много пьющий и достаточно безбашенный. Уорд был эдаким романтическим героем для своих товарищей, но только на Рождество 1951 года Клаубер заметил, что Энди на него стал западать. На то Рождество они втроем, в компании молодого человека по имени Чарльз, пошли на какой-то французский фильм. После чего нашли елку и потащили ее на квартиру к Клауберу, где стали отмечать, танцуя в гостиной.

Клаубер живо помнил эту сцену:

Я стянул брюки, и мы с Ральфом начали лихо вальсировать и врезались в стол, а когда я поднялся, у меня в боку была здоровая рана, мы позвонили в скорую, что подразумевало, что и копы приедут. Энди от осознания этого факта стало дурно, и он смылся оттуда. Просто в ужасе был. Конечно же, для копов было очевидно, что вечеринка гейская, и они подозревали, что меня пырнули.

По словам Уорда, «копы вели себя грубо, хотя один из них и был весьма ничего». Тем не менее никаких обвинений предъявлено не было, и Джордж, Ральф и Чарльз сели в скорую и полицейскую машины. Энди наблюдал из арки здания через дорогу, как эскорт двинулся в

больницу. Он не осмелился оказаться замешанным в подобное, но должен был знать, чем дело кончится. Для Джорджа это был знак, что Энди уже был сильно влюблен в Ральфа.

Хотя раньше он был вполне удовлетворен своими вуайеристскими забавами, с Ральфом Энди повел себя чуть более прямолинейно. В последующие недели он написал ему кучу любовных записок, но Ральф отверг его робкие заигрывания. «У Энди со мной был роман, – вспоминал он. – Я же никогда им не интересовался». Но все же последовала достаточно близкая дружба, такая, чтобы другие гадали, не любовники ли они. И теперь Клаубер был третьим лишним.

Ранней весной 1952 года Уорд и Уорхол стали работать вместе над серией рукописных книжек. Это был первый из многих раз, когда Энди стал поддерживать роман сотрудничеством в каком-либо деле. Первая, *A is an Alphabet*, состояла из двадцати шести рисунков Уорхола, набросков лиц и тел с нескладными подписями Корки. *Love is a Pink Cake* была любопытнее, составленная из двенадцати уорхоловских иллюстраций к знаменитым историям любви в компании со стихами Уорда, как то: «Мавр в Венеции дал маху, Задушив свою деваху». Третья книга, *There was snow in the street*, содержала блоттированные изображения, по большей части детей, и была напечатана годами позже. Эмоции, положенные в основу проекта, были очевидны, и книги стали прекрасными рекламными образцами для рассылки арт-директорам и прочим клиентам Энди. «Стиль рекламных материалов Энди был таким узнаваемым, настолько в его видении и манере, что они действительно поспособствовали его признанию, – вспоминал Клаубер. – Люди их стали коллекционировать и с нетерпением ждали новых. Зайдешь в какое-нибудь рекламное агентство, а там наверняка что-то лежит от Энди Уорхола».

Какая бы близость ни была между Энди и Ральфом, она в течение следующего года перестала существовать. Как обнаружил Уорд, поддерживать близкую дружбу с Энди было тяжело, потому что тот был настолько нуждающимся во внимании и чересчур легко ранимым. Ральф еще и поглядывал свысока на увлечение Энди работой и получением дохода.

«Энди все делал ради денег, – утверждал Уорд. – Его основной целью было научиться работать быстрее».

Клаубер прокомментировал: «Было определенное недовольство среди тогдашних знакомых Энди. Филип с Дороти Перстейн тоже оказались несколько разочарованы, но Ральф был особенно презрителен по отношению к провинциализму Энди в вопросах саморекламы и раскрутки. И, думаю, Энди на Ральфа был обижен. Тут и сомнений нет».

Странная парочка 1952–1954

Как-то вечером в квартиру, где я жил, заявила мама с парой чемоданов и пакетов и объявила, что она покинула Пенсильванию навсегда, чтобы «остаться жить с ее Энди». Я сказал ей: «О'кей, оставайся, но только до тех пор, пока я сигнализацию не поставлю».
Энди Уорхол

Отношения с Уордом совпали с переездом Энди в его собственное жилье, удручающе грязную, засиженную мышами и вшами, не отапливаемую квартиру на первом этаже в здании под железнодорожными путями разрушенной ныне надземки на 3-й авеню, дом 216 по Восточной 75-й улице.

Юлия навестила его с Полом. Прибирая квартиру и готовя семейный обед, она допрашивала его о доходах и стирала его белье. Энди никогда еще не приходилось вести собственное хозяйство, и Юлия имела все основания волноваться, способен ли он обеспечить себя. Все его вещи были грязными и изношенными, а кто-то из друзей заметил, что порой Энди пах так, словно несколько дней не мылся. Он перебивался преимущественно пирожными и сладостями. Все четырнадцать часов обратного пути в Питтсбург Юлия провела за литанией из собственных страхов и молитв за ее младшенького.

В Питтсбурге Пол Вархола только начал преуспевать в торговле металлоломом, и Юлия подумывала переехать с Джоном к нему, в пригород Клертон.

Пол Вархола:

Маме район нравился. Говорит: «Если найдешь мне у себя дом, я бы переехала». О'кей, дом мы нашли, купили дом. Тут мой брат Джон решил, что хочет жениться. Ну, мама посчитала, что ей нет нужды ехать в большой дом. Говорит: «Что ж, единственный выход, кажется, – поехать к Энди в Нью-Йорк».

Ранней весной 1952 года Юлия приехала в Нью-Йорк с Джоном в его фургоне мороженщика. «На подошве у Энди была дырка с доллар, – вспоминал Джон. – Так что я оставил ему свою лучшую пару. Думаю, мама, как увидела это, сразу решила переехать туда, чтобы ухаживать за ним».

Дом на Доусон-стрит был выставлен на продажу и продан несколько месяцев спустя за шесть тысяч восемьсот долларов. Юлия положила деньги в банк и так и хранила их на черный день до самой смерти. Джон забрал все, напоминавшее об отце, а учебники и студенческие работы Энди отвезли Полу. «Я спросил, что мне со всем этим делать, – вспоминал Пол. Энди сказал мне: „Да просто выкинь. Выбрось на помойку“». После некоторого раздумья Пол решил не выкидывать десяток картин, выполненных на картоне. «Сложил на антресоли и так никуда их не приспособил. Мы по ним ходили». Позже его дети станут использовать их как мишени для дротиков.

С одной стороны, Пол, как и его отец, верил, что Энди станет однажды знаменитым, а его картины будут стоить кучу денег. С другой стороны, он обращался с ними с тем пренебрежением, которое демонстрировал к творчеству Энди на протяжении всей его жизни. К примеру, ни разу не посетил его выставки, даже если Энди просил.

В начале лета Пол отвез мать обратно в Нью-Йорк. Он не был в восторге от идеи оставить Юлию в «чудовищных условиях» Энди, но понимал, что они с мамой нуждались друг в друге.

«Она считала, зачем сидеть дома одной, когда можно поехать и быть полезной Энди? А он к матери был привязан. Ему было хорошо, что она рядом, и она там была счастлива».

Первые месяцы на Восточной 75-й улице дались тяжело. Доход Энди все еще был нерегулярным, и он почти не вкладывался в свое место обитания. Как и его отец, Энди был склонен копить деньги и не планировал разбазаривать их на то, что большинство считает предметами первой необходимости. В свой последний визит Джон за компанию сходил с Энди в типографию, чтобы забрать что-то из его рекламных материалов, и был поражен чертой, которую Энди наверняка унаследовал у своего отца.

Говорит типографу: «Я тебе не это сказал сделать». Тот ему:

«Ну, я думал, вы так хотели», а Энди отвечает: «Что ж, нет, ты меня не слушал». Манера Энди противостоять ему тут же напомнила мне отца. Я бы просто заплатил. А когда мы вышли, я спросил у Энди: «Так что, ты ему не заплатишь?» – «Нет, – говорит, – он сделал не так, как я хотел». А парень тогда сказал: «Черт, я же на этом деньги потеряю». Энди отвечает: «Ну, зато в следующий раз будешь слушать. Ты не сделал того, что я заказал. Теперь мне придется ждать и все переделывать». Отец был таким. Энди, хоть сложен был иначе, чем папа, был крут.

Энди и Юлия пользовались одной спальней, ночуя на матрасах на полу, а кухонный стол Энди использовал как мастерскую. Ванна обычно была забита бумагой, которую он окрашивал, отсюда и догадки друзей о том, что сам он ее редко использовал. Он купил себе черно-белый телевизор, чтобы составлял ему компанию в тот короткий период, что Энди прожил там в одиночестве, и сиамского кота, чтобы гонял мышей. Вскоре подобрали еще одного сиамца, и эта парочка, Хестер и Сэм, принялась размножаться.

Поначалу, вспоминает Клаубер, «все были поражены, что он позволит своей матери приехать и жить с ним, но удивительная штука была в том, что он был с мамой очень ласков, очень мил. На самом деле, я всегда считал Энди очень добрым и мягким в душе. Я никогда не видел, чтобы он делал людям что-либо плохое. Он всегда был добр и предупредителен. Так что в этом смысле ничего не было странного в том, что его мать могла жить с ним».

Энди определенно переживал о мамином присутствии в Нью-Йорке, когда пошел потихоньку в гору. Сначала он не думал, что она останется надолго, потому что в Питтсбурге у нее остались большая любящая семья, паства и священник, к которому она была привязана, в том время как в Нью-Йорке она никого не знала. Энди не планировал впускать ее в свой круг общения, который по большей части держал от нее в секрете. Тем не менее вскоре стало ясно, что она жаждала посвятить свою жизнь поддержке его стремлений.

Большинство друзей Энди держал на расстоянии от Семьдесят пятой улицы. Энди нередко смущался и стыдился матери. Юлия в своем крестьянском платье и косынке ничем не походила на роскошную обеспеченную мать вроде Нины Капоте, носившей меха, драгоценности и тешившей своих приятелей светскими байками. Юлия упорно продолжала говорить «по-нашему» и обращалась с Энди со смесью любви и насмешки. Она подталкивала его «делать, что правильно» и «искать свои идеи в снах», но пилила, что он не одевался нормально и не женился. Особая ирония в ее пребывании у Энди заключалась в том, что она планировала остаться до тех пор, пока Энди не найдет милую девушку, остепенится и женится на ней.

Отношения Уорхола с его матерью были похожи на отношения романиста Джека Керуака с его «святой, деревенской матерью», с которой тот прожил почти всю свою сознательную жизнь, Аллена Гинзберга с его матерью, которая стала героиней его великой поэмы «Кадиш», и Элвиса Пресли с его матушкой, основной опорой его карьеры в пятидесятые. Трумен Капоте и Теннесси Уильямс также не могли избавиться от собственных матерей. Мамочки довели над американской культурой после Второй мировой войны.

«Юлия была источником стойкости, мягкости и приземленной жизнерадостности, которые были ядром характера Энди, – комментирует историк искусства Джон Ричардсон. – Какой бы ограниченной и необразованной она ни была, при встрече Юлия поражала людей остроумием, озорством и проницательностью – совсем как ее сын».

Скрываясь за простецкой крестьянской внешностью, Юлия была единственным человеком на жизненном пути Энди, кто не уступал бы ему в сложности, манипулятивности и власти. Выдающаяся странная парочка – Юлия и Энди – могла бы превратиться как в отличную команду, так и в заложников нужд и капризов друг друга. Одной из главных черт характера Энди было его умение разделять свою жизнь с любимым, с кем он проводил время. Существовала определенная открытость по отношению к остальным, которая позволяла им чувствовать, будто они действуют с ним заодно и в каком-то смысле становятся с ним одним целым, из-за чего многие сотрудничавшие с ним и будут говорить: «Я и есть Энди Уорхол». К концу десятилетия их личности так переплетутся, что Юлия заявит в горькой тираде, что она и есть Энди Уорхол.

Между тем на момент приезда Юлии в этом факте было больше позитива, чем негатива. Она по большей части была отличной собеседницей и отвечала за то, чтобы Энди смеялся. Раз Юлия заботилась о нем и вела хозяйство, Энди был волен полностью концентрироваться на своей работе, будучи мотивированным зарабатывать еще быстрее, чтобы съехать в место получше. Более того, деловитый в плане становления своей легенды, Энди рекламировал ее наличие в той же степени, что и прятал ее ото всех. Узнав искушенная модная тусовка, что этот странный, манерный талантливый мальчик живет со своей мамой, только удивилась и заинтересовалась бы пуще прежнего.

В марте 1952 года Энди достиг еще одной старой цели, опубликовав работу в Park East (журнале о богатых и знаменитых, которые жили в Верхнем Ист-Сайде) и хоть отдаленно сроднившись со звездами вроде Риты Хейворт, Капоте и Гретой Гарбо, чьи фотографии были в том номере. Также той весной Энди сделал свои первые шаги к признанию в качестве художника, представив свои иллюстрации к текстам Трумена Капоте в галерее Hugo, принадлежащей Иоласу, чей международный авторитет одного из крупнейших дилеров сюрреализма оправдывал его ставшую кличкой фамилию. Дэвид Манн, помощник Иоласа и один из списка знакомцев Клаубера, вспоминал, что первоначальная реакция Иоласа была нехарактерно восторженной:

Зашел Энди. Он выглядел бедным мальчуганом, с прыщавым лицом и в простой одежде. Это был конец сезона, почти июнь, и обычно мы закрывались, но Иолас сказал мне: «Посмотри на его работы!». Мы оба думали, что они замечательны, и он говорит: «Ну, все равно больше ничего нет, почему бы еще одну выставку в июне не устроить?».

Подобная сочувствующая помощь в гомосексуальном арт-сообществе играла важную роль до конца карьеры Энди. К сожалению, сам Иолас был в Европе, в числе практически всех имеющих вес на арт-сцене, когда первая выставка Энди Уорхола открылась в полдень 16 июня 1952 года.

Из близких друзей Энди пришел только Клаубер. Вспоминал, как Энди нервно расхаживал, заметно расстроенный тем, что Трумен Капоте не смог прийти.

Юлия на открытие пришла и проторчала все время где-то на втором плане в суконном пальто и косынке, еще больше нервируя Энди. Это был первый и последний раз, когда она присутствовала на публичных мероприятиях с ним. Среди других посетителей галереи в тот день был молодой рекламный художник, чей вклад как помощника Энди в последующие годы будет неопценим.

Прежде чем выставка закрылась, ее так посетили Трумен и Нина Капоте. Если верить Дэвиду Манну, миссис Капоте была особенно красноречива: настолько, по ее мнению, хороши были картины. Энди был потрясен и абсолютно счастлив, когда Трумен и его мать пришли. Они проговорили с ним около полчаса.

С сегодняшних позиций те воздушные рисунки мальчиков, бабочек и ангелочков почти шокируют, учитывая давно раскрытые тайные коды гей-культуры. Утонченные и светлые, со всплесками пурпурного и фиолетового, они демонстрировали характерное противоречие.

«По тем или иным причинам вспоминаются Бёрдслей, Лотрек, Демут, Бальтюс и Кокто, – писал Джеймс Фитцсиммонс в кратком обзоре в *Art Digest*. – От работы веет зрелостью, мягко подчеркнутой порочностью». Но в целом пятнадцать рисунков к сочинениям Трумена Капоте были восприняты серьезно только друзьями Энди и немногочисленными поклонниками его таланта.

Ни одна из работ, стоимостью триста долларов каждая, продана не была, но Энди наладил хорошие связи с Дэвидом Манном, который в следующее десятилетие организует ему множество выставок.

Карьера Энди в рекламе весной 1953 года вышла на новую ступень. В своих стоптанных ботинках, холщовых штанах и запачканной краской футболке под замызганным пиджаком Энди зашел в офис начальника Клаубера Уилла Бёртона, чтобы подарить художественному редактору расписанное вручную пасхальное яйцо, и тут Бёртон познакомил его с энергичной эрудированной дамой по имени Фритци Миллер, которая только начала работать агентом у рекламщиков. «Энди, – сказал Бёртон, – познакомься с Фритци. Она тебе нужна». Энди вроде бы согласился, но, по словам Фритци, все же прошло какое-то время, прежде чем Энди в панике позвонил ей сказать, что его приятель, который помогал ему по работе раньше, может побить, если узнает, что тот дал ей свои данные. Вскоре Уорхол позвонил Миллер во второй раз и сказал, что хочет, чтобы она его представляла. Та согласилась.

Вклад Фритци Миллер в то, что его работы оказались в *McCall's* и *Ladies' Home Journal*, а впоследствии в *Vogue* и *Harper's Bazaar*, имел основополагающее значение для становления Уорхола как самого востребованного иллюстратора Нью-Йорка в области женских аксессуаров. После этого, как пишет Кэлвин Томпкинс, «многие в этой сфере стали замечать журнальные работы Энди. Что бы он ни иллюстрировал – шампуни, лифчики, ювелирные украшения, помаду или парфюм, – в его работах была изысканная оригинальность, которая притягивала взгляд. По мнению Фритци, удивительно, как Энди с его бэкграундом смог столь чисто взять верную ноту. Девчачьи сердечки с цветочками и розовые андрогинные ангелочки, используемые им, являлись не вполне тем, чем казались, была в них какая-то подспудная непристойность, которую профессионалы журнального бизнеса видели и одобряли. Он знал, как подтрунить над товаром так, чтобы клиент мог оценить шутку».

В следующие полгода заработки от иллюстраций чуть ли не удвоили его доход – до двадцати пяти тысяч долларов. Уорхол в свои двадцать пять, несмотря на свои внешние особенности, был достаточно успешен, чтобы отбросить все прежние чаяния друзей на его счет. Теперь из-под личины беспомощного Тряпичного Энди проявилось двигавшее им стремление.

Стоило Энди начать зарабатывать, выяснилось, что у него с деньгами, как описал это один его товарищ, «нездоровые» отношения. Он или тратился вконец, или вконец крохоборствовал. Середины для Энди не существовало. На некоторые вещи он не тратился, даже если они были необходимы, зато завтраки в отеле Plaza и просиживание потом в холле Palm Court Lounge в надежде, что его перепутают с Труменом Капоте, были одними из его любимых занятий. Порой Энди изумлял друзей, спуская там по пятьдесят долларов за завтрак с ними. Также он стал завсегдатаем в шикарном Cafe Nicholson, дорогом ресторане, упоминавшемся в журнале Park East как место встречи молодых писателей, танцовщиков и дизайнеров. Энди был

там любимым клиентом, потому что всегда очень щедро оставлял на чай и раздавал официантам россыпи шоколадных конфет Hershey.

Энди совершал ежедневные экскурсии в самые дорогие кондитерские, где покупал несколько пирожных или даже целый торт, нес все это домой и зачастую тут же проглатывал. Такие мало контролируемые траты на еду стали для Юлии постоянным источником расстройств, которая начала вести себя с ним как с супругом, желая, чтобы он выделял часть его дохода их семье в Питтсбурге.

Эти показательные излишества шли в ярком контрасте с тем маргинальным существованием, которое Энди с Юлией вели под грохочущей надземкой в квартире на Семьдесят пятой улице. То ли поток поступления наличности к Энди значительно колебался, то ли ему неловко было вывести ее куда-то, но, на самом деле, они с Юлией провели их первый совместный День благодарения ужина за стойкой в Woolworth. «Это нагоняло на него невероятную тоску», – Пэт Хэккетт, секретарь Энди в семидесятые и восьмидесятые, вспоминала его попытки ворошить в памяти события зимы 1952 года. Несмотря на придаваемые ему силы, присутствие Юлии также было для Энди постоянным напоминанием о его детстве в нужде.

Сильно нуждаясь в жилищной площади и наконец-то будучи способным ее себе позволить, летом 1953 года Энди взял в субаренду у своего однокашника из Теха Леонарда Кесслера весь четвертый этаж в здании без лифта по адресу Лексингтон-авеню, 242, недалеко от пересечения с Тридцать четвертой улицей. С тем условием, что в течение нескольких месяцев Кесслеру разрешено будет пользоваться одной из маленьких комнат как студией для иллюстрирования детских книжек. К несчастью Джорджа Клаубера, у него была машина, и его подключили помочь Энди с переездом. Когда он приехал, Энди сидел беспомощно на Восточной семьдесят пятой улице, совершенно не собранный. Это подкосило Джорджа, которому «пришлось идти и помогать упаковывать все в коробки и носить их все в машину».

Новое жилье было просторнее предыдущего. Входная дверь вела в большую кухню, меблированную столом и комплектом кресел и украшенную портретом Иисуса, указующего на пресвятое сердце. Впереди располагалась большая комната с окнами на шумную улицу и еще одна маленькая чуть сбоку. Сзади были еще одна большая комната и небольшая спальня. За Кесслером оставалась маленькая передняя комната-студия, а Энди с Юлией разделили маленькую заднюю спальню, все еще ночуя на матрасах. Остальное пространство быстро заполнилось пачками бумаги, журналов, фотографий и рисовальных принадлежностей, пока вся поверхность не была ими укрыта, а Энди оказался вынужденным работать на переносном письменном столе, ставя его на коленки. Ботинки, перчатки, шарфы, шапки, сумочки, ремни и украшения, которые ему было поручено рисовать, добавляли неразберихи. Когда Кесслер однажды взялся помочь передвинуть какие-то кипы, то обнаружил чек на семьсот долларов, присланный Энди месяцы назад и затерявшийся среди новых заданий и скопившегося хлама.

Тем временем популяция кошек увеличилась: их было от восьми до двадцати, в зависимости от того, как быстро Энди удавалось раздавать их. Большинство друзей получили хотя бы по одному уорхоловскому котенку, многие из которых оказались необычайно капризными и агрессивными. Однажды одна из кошек так укусила его мать за руку, что той пришлось идти в больницу. Тогда он решил, что кошек у них слишком много, и избавился еще от нескольких, но все равно оставался целый зверинец. Они рыскали по джунглям из бумаги, драли принадлежности Энди, ссали на них и время от времени проносились сквозь беспорядочные кучи его работ в припадках кошачьего бешенства. Юлия, с ведром и шваброй, вечно убирала за ними. Телевизор постоянно был включен, в половине случаев на пару с проигрывателем с записями бродвейских шоу. Один из друзей заметил, что пройти по квартире и ничего не уронить и не споткнуться было задачей для канатоходца. Другие описывали жилище как «пещеру летучей мыши» или декорации фильма «В порту». Клауберу кошки напоминали «суррогатных

детей» Энди. Для большинства они стали частью легенды: Энди жил в безумной студии со своей мамой и двадцатью одной кошкой. Запах, говорят, был еще тот.

Квартира располагалась над ночным клубом, баром Shirley's Pin-up на первом этаже, и грохочущие биты песни You're So Adorable струились в окна, смешиваясь с грохотом подземки Лексингтон-авеню в нью-йоркскую какофонию, которая неместным и глаз бы сомкнуть не позволила. Впервые в своей жизни Энди, который теперь мог считать себя ньюйоркцем, оказался в городской стихии.

Тем летом оба брата по разным поводам навещали Энди, и теперь в квартире хватало места остановиться и им самим, и их детям. Его мать всегда радовалась этим визитам, а ребятам, кажется, нравилось играть с дядей Энди, который раздавал им карандаши для рисования, чтобы не слишком ему мешали, и всегда что-нибудь дарил каждому по прибытии.

Гости тоже стали заходить все чаще, хотя им редко удавалось найти себе местечко между всеми кипами бумаг и котами. Кто бы ни пришел, Энди не переставал работать над заказами на следующий день. «В этом вопросе он был каким-то демоническим, – вспоминал один из друзей. – Он работал беспрестанно». Другой говорил, что единственное время, когда Энди не работал, случалось, когда он внезапно срывался в Cafe Nicholson или театр, оплачивая обеды и билеты скомканными банкнотами, которые доставал изо всех возможных карманов и даже из ботинок.

Он был большой шалун, много зарабатывал на рекламе и просто жил в свое удовольствие. В последнюю минуту мог вдруг захотеть увидеть последнее шоу на Бродвее, а я говорила: «Энди, сейчас уже билетов не достать». А он говорил: «Ой, нет, мы билеты найдем. Поехали, поехали». И он едет на такси и идет прямо в кассу к восьми тридцати, а у них только самые дорогие места в первом ряду. Он никогда специально не наряжался для таких случаев. Ему нравилось вот так поступать – направиться куда-нибудь внезапно посреди ночи, устроить пикник в парке.

А еще Энди снова заинтересовался танцем – теперь, когда он мог позволить себе билеты на Пола Тэйлора, Джона Батлера и Марту Грэм.

Юлия, с ее деревенскими манерами, сбивчивым английским и девичьим смехом, стала любимицей его друзей, пока шила, готовила и, случалось, даже раскрашивала рисунки Энди за него. «Я неплохо узнал Юлию, – вспоминал Леонард Кесслер. – Она все готовила „капушту“, это капуста с ребрышками. Самое то, если жить где-нибудь на Аляске или Юконе. Самый жаркий летний день, а она заявляет: „Капушта тебя согреет“. – „Миссис Уорхол, – говорю, – мне тепло“. – „Может быть и теплее“, – она отвечала».

Энди обожал сладости, и его собственные пристрастия в еде склонялись к богатым жирами тертым авокадо с шоколадом, которые для него делала Юлия, недоуменно бурча. Джордж Клаубер регулярно приходил на капушту и халупку, хотя и вспоминал, что «обед был исключительно для затравки. Энди все не терпелось куда-нибудь направиться после. Его мать не особо была заинтересована в общении. Она всегда напоминала мне мою. Одиночка. Беда в том, что он не знал, что с ней делать».

Другие, заходившие на Лексингтон-авеню, были заинтригованы и очарованы отношениями между Энди и Юлией, особенно в моменты противостояния, когда Юлия подавляла своего эксцентричного сына. Он уже начал носить костюмы и галстуки в ту пору, но по-своему. «Часто покупал дорогие ботинки, – вспоминал один гость Лексингтон-авеню, – но прежде, чем носить их, проливал на них краску, мочил их, позволял котам их обоссать. Когда образовывался нужный налет, он их надевал. Хотел выглядеть потрепанным, как принц, который может позволить себе дорогие туфли, но не ценит их и обращается с ними как с никчемными». Часто не завязывал ботинки. Кто-то утверждал, что Энди так и не научился завязывать галстук.

Когда у него концы не сходились, просто их отрезал. В итоге у него скопилась целая коробка отрезанных концов галстуков. Маму это бесило, но на самом деле Энди выглядел отлично, совсем как надо выглядел. У нее случались припадки: она выходила на улицу, следовала за ним, мол, что он все не встретит хорошую девушку и не женится... Такой был сценарий. Не знала, как относиться к Нью-Йорку и друзьям Энди. Она и на улицу-то не выходила, если не считать A&P.

В ответ на это Энди кривился от смущения и причитал: «Ой, ма! Отстань от меня, ма!»

В целом тем не менее было заметно, что Юлия была безумно счастлива быть с Энди. «Мне нравится Нью-Йорк, – бубнила она. – Люди хороший. У меня своя церковь, хорошая большая церковь на Пятнадцатой улице и Второй авеню. А воздух... воздух лучше, чем в Пенсильвании».

Жизнь Энди шла по более-менее повторяющемуся сценарию. Он поднимался около девяти, и мама готовила ему завтрак. Потом он быстро заканчивал недоделанную работу, натягивал свою униформу Тряпичного Энди и уезжал на такси в редакцию журнала или офис рекламного агентства, чтобы доставить или забрать новые заказы. «Это было как с лабораторной крысой, они всё ставят на тебе эти опыты и поощряют, если все сделаешь правильно, а если ошибаешься, одергивают, – написал он позднее. – Назначат мне встречу в десять утра, поэтому я кровь из носу стараюсь прибыть туда ровно в десять, приезжаю, а ко мне не выйдут до без пяти минут час. Поэтому, пройдя через это раз так сто, слышишь „в десять“ и думаешь себе: „Ну-ну, конечно, приеду-ка я без пяти минут час“. Так что я стал подъезжать к без пяти минут час, и это всегда срабатывало. Вот это самое время для встреч».

Проведя час с арт-директором, Энди мог поехать на бизнес-ланч в дорогой ресторан в Ист-Сайде. После ланча он ехал в другой офис за материалами для заказа. Ближе к вечеру он обычно заезжал в свое новое любимое местечко, Serendipity, выпить кофе с пирожными. Serendipity, то есть «наитие», – этим словом можно было бы описать отношение Энди к жизни – находился на первом этаже здания на Восточной 58-й улице и предлагал среди прочего, в стильных белоснежных декорациях, мороженое, торты, кофе и модные безделушки. Это была мекка таких знаменитостей, как Глория Вандербилт, Кэри Грант и Трумен Капоте. К Энди часто присоединялся молодой человек или сразу несколько, которые порой помогали раскрашивать его рисунки. Владельцы, которым вскоре суждено было серьезно повлиять на судьбу Энди, поначалу увидели в нем человека необычного и одухотворенного, державшегося довольно грустно и сиротливо и иногда напоминавшего бедного родственника из провинции. Перед уходом он нередко покупал пирожные и торты. По пути домой иногда останавливался приобрести книжку, пластинку или журналы. По вечерам он зачастую был приглашен на вечеринки или шел в оперу, на балет или в театр с друзьями.

Энди был более чем щедр с теми, кого любил. Помимо их развлечения, он мог спонтанно одарить их чем-нибудь, купленным ранее, чем они восхищались. Его друзьями были веселые люди со свойственным богеме взглядом на вещи, пробовавшие себя в литературе или живописи. Его знакомые девушки были достаточно экстравагантны. Они были милыми, но слегка ненормальными, и он, кажется, был в восторге от них.

После вечерних развлечений Энди часто мог несколько часов проработать, прежде чем шел спать около трех или четырех утра.

Вот в такую схему жизни Энди ввел нового друга, который вскоре стал его первым настоящим любовником, – Карла Уиллера.

Альфред Карлтон Уиллерс встретил Энди в 1953 году в фотохранилище Нью-Йоркской публичной библиотеки, куда Уорхол часто приходил подбирать исходные материалы для своих

иллюстраций. Энди забирал с собой домой множество фотографий. С одной он копировал лицо, с другой – деталь стула, кошачью морду с третьей, применял к получившемуся блоттирование и получал оригинальный рисунок, происхождение которого в итоге было не определить. Самым важным, по его словам, было то, что он отбрасывал. Чтобы быть абсолютно уверенным, что никто не определит его исходники, Энди не возвращал фотографии, пока не образовывалась просрочка, платил небольшие штрафы, чтобы не отдавать их. Таким путем он вскоре собрал обширный банк фотоизображений. Еще он начал коллекционировать антиквариат и предметы искусства. Уиллерс, обучившийся печатать и стенографировать в воздушных войсках, работал секретарем куратора коллекции в ожидании начала обучения истории искусства в Колумбийском университете.

Карл, как он представлялся (Энди дразнил его, называя Альфредом), был двадцатидвухлетним уроженцем штата Айова, чья мальчишеская привлекательность подчеркивалась копной светлых волос такой длины, что некоторые друзья в шутку прозвали его Пальмой. Это был его первый год в Нью-Йорке, и он, пожалуй, был куда неопытнее, чем ему хотелось бы признавать.

Той осенью он стал частым гостем в квартире на Лексингтон-авеню и одним из компаньонов Энди на обедах в Nicholson и на внезапных театральных вечерах. Юлия казалась довольной, что Энди нашел близкого товарища, и обращалась с ним как еще с одним сыном. Уиллерс был поражен домом Энди: сам Энди, Юлия и кошки, словно вышедшие из какой-то европейской сказки, были реальностью, значительно отличавшейся от той, которая сформировалась у Карла поначалу после первых впечатлений от Уорхола. В своей типичной манере Энди сперва пытался скрыть детали своей личной жизни, рассказывая Альфреду, что он родом с Гавайев. Многие отмечают, как Энди, должно быть, радовало сочинять себе разнообразное прошлое, как только появлялась возможность. По крайней мере еще одна большая голливудская звезда, Марлон Брандо, известен тем же. Всегда можно просто обратиться к Голливуду, чтобы подобрать ключики к поступкам Энди, раз уж он без конца подхватывал тамошные повадки.

«Энди в прямом смысле хотел быть знаменитым и не скрывал этого, – утверждал Карл Уиллерс. – Стоило ему начать рассказывать, какой чудесный, и замечательный, и талантливый, и блистательный гений вот этот, и – бац: Энди уже сам хочет быть известным».

Вечерами после работы Карл стал помогать Энди раскрашивать рисунки и служил ему натурщиком для иллюстраций рук или ног. Они часто ходили куда-нибудь. Карл Уиллерс: «Он любил ходить по вечеринкам, а их в округе было немало. В пятидесятые вечеринки, казалось, случались еженощно. У него было много друзей с кучей денег в своих прекрасных нью-йоркских квартирах, которые закатывали замечательные вечеринки, куда Энди мог направиться. Это была его единственная социальная активность, но я еще думаю, что Энди любил вечеринки потому, что там он не был связан и мог уйти, когда захочет. Если ему не хотелось куда-нибудь идти, что случалось нередко, он бывал непреклонен. Когда кто-нибудь подходил с предложением: „Энди, а давай туда заявимся!“, он отвечал: „Нет, нет, нет, нет“, потому что ему казалось, что его принуждают, или что он не сможет побороть свою застенчивость, или что другие перецеголяют его харизмой или талантом. Так что ему приходилось взвешивать все эти штуки, решая, пойдет он или нет».

Энди был типичным геем, просто он не придавал этому значения по жизни. Это казалось ему шикарным, и он любил бывать среди элегантных геев с их прекрасными квартирами, с их занятиями, которые он почитал как особенно роскошные или впечатляющие в этом мире».

Иногда, если оказывалось, что они припозднились, Карл мог остаться ночевать, укладываясь на диване в передней комнате, а Энди продолжал работать.

Тот Энди Уорхол, которого Уиллерс знал, «пользовался своей застенчивостью, словно ребенок, но это все была такая игра, совершенно очевидно. Ему правда казалось, что людям следует шалить, но сам он абсолютно не был лихим, по сути, он был тихоней».

В Nicholson их беседы никогда не были серьезными или интеллектуальными. Энди умилялся каждому пикантному слушку или хохотал над чем-нибудь виденным по телевизору, с блаженством уплетая третье шоколадное суфле. Впоследствии Карл будет терпеливо выслушивать, как Энди упивается самоунижением.

У него были большие проблемы с кожей, и прыщи выскакивали совсем как у подростка. Он очень переживал по этому поводу, его сильно мучила совесть насчет всего этого поедания сладкого, потому что он полагал, будто это-то его и полнит и вызывает появление прыщей. У него была обостренная неуверенность в себе. Считал, что он совершенно не привлекателен, слишком низкоросл, чересчур пухл. Он считал себя несуразным.

Прогрессирующая лысина Уорхола стала причиной очередных страданий. К моменту встречи с Уиллерсом на затылке Энди волос почти не осталось, и он не снимал кепку с козырьком даже во время обедов, что Уиллерсу казалось неприличным. «Энди, это безумие, – Уиллерс вспоминал, как говорил ему, – люди подумают, что ты пижон или невежа. Чего не купишь себе парик?» Вскоре Уорхол приобрел светло-русую накладку, первую из нескольких сотен, которые у него постепенно скопятся: темные, блондинистые, белые, серебристые и седые.

Годы спустя Энди объяснит, несколько иронично, свое желание «поседеть»:

Я решил поседеть, чтобы никто не знал, сколько мне лет, и чтобы я выглядел в их глазах моложе, чем они считали.

У моего поседения много плюсов. Первое: у меня появились старческие проблемы, с которыми примириться куда легче, чем с юношескими. Второе: все восхищались тем, как молодо я выгляжу. И третье: я оказался избавлен от ответственности за ребячество – мог вдруг впасть в чужачество или маразм, и никто бы ничего дурного не подумал из-за моих седин. Когда у тебя волосы седые, каждое твое движение кажется «юным» и «бойким», а не просто обыденно энергичным. Словно обзаводишься новым талантом.

Уиллерсу было очевидно, что Энди увлечен им, но ему было очень сложно выражать свои чувства, в особенности вблизи от Юлии. Из-за ее щербинки между зубами Карлу казалось, что, смеясь, она походила на ведьму. Даже когда Энди считал, что запер ее в спальне на ночь, она вдруг появлялась, ухмыляясь и посмеиваясь, с ведром и тряпкой наперевес. Иногда она пошатывалась, словно чуть навеселе, и хихикала невпопад, думая о чем-то своем. В другой раз могла свернуться под кипой рисунков на кресле и заснуть, чтобы восстать оттуда посреди ночи и побрести в свою спальню. У нее начала проявляться та же проблема с алкоголем, которая была у ее несчастной бестолковой сестры Марии, что делало их сестру Анну белой вороной. Вероятно, какая-то часть Энди наслаждалась этим. Если он и пил, то умеренно, но до конца своих дней представлял собой, как это называют среди анонимных алкоголиков, параалкоголика, человека, который расцветает, общаясь с алкоголиками, получая удовольствие от их безумств, а ведет себя так, будто пытается отвести их от выпивки. Увлечение Энди людьми, которых большинство считали ненормальными – наркоманами, трансвеститами и прочими фриками шестидесятых, – на тот момент в какой-то степени удовлетворялось его мамой, прирожденной чудачкой.

Несмотря на то что Карл был уверен, будто Юлия думает, что он просто помогает Энди, и ни о чем другом между ними не подозревает, она все же являлась сдерживающей силой. Однажды ночью Карл как бы невзначай наклонился поцеловать Энди на прощание, Уорхол отмахнулся от него и молча повел в другую комнату. Он беспокоился, что мать может появиться из спальни и застать их в объятиях друг друга. Укрытый от ее взгляда, Энди таки смог подарить Карлу прощальный поцелуй. В другой раз, на вопрос кого-то из друзей Энди, хорошо ли она спала накануне, Юлия ответила, серьезно и трогательно: «Ох, нет! Всю ночь

провела, наблюдая, как Энди спит». Десять лет спустя Энди снимет фильм под названием «Сон», проведя ночь без сна, наблюдая, как спит его бойфренд.

Близость с Уиллерсом нашла лучшее выражение в работах Энди. Он затеял серию портретов Карла, на какое-то время впечатлив его серьезностью своих намерений, приостановивших на несколько дней работу над иллюстрациями, он даже освободил место в квартире, чтобы сконцентрироваться на пяти крупных полотнах с Уиллерсом, позировавшим обнаженным. Он нарисовал его лежащим на спине и на боку. Одна из картин в законченном виде представляла собой не одного мужчину, а двух любовников.

Где-то в то время у них случился короткий, нервный роман. Энди было двадцать пять, и это был его первый полноценный сексуальный опыт.

«Думаю, тема эта очень сложная, интригует и занимает умы многих: ложится ли Энди вообще с кем-либо в постель? – отметил годами позже Уиллерс. – Могу только сказать, что на момент нашего знакомства он всеми правдами и неправдами воздерживался, если только кто-нибудь не подталкивал его к этому, говоря, мол, „давай, Энди, в койку“, то тогда он мог... только мог... Но коли он с трудом мог оказаться в постели со мной, кого он знал в этом смысле лучше кого-либо, я не могу себе представить, чтобы он когда-нибудь вошел во вкус. Он был так чудовищно не уверен в себе, такого низкого мнения держался относительно собственного внешнего вида, у него был серьезный психологический блок».

Частично тут виной была его мать. Когда бы она ни злилась на Энди или ни опасалась, что он заинтересовался кем-либо еще, Юлия припечатывала его взглядом и рассказывала на ломаном английском (чтобы смысл точно не ускользнул) историю о русинском крестьянине, чья красавица жена вышла за него только из-за денег. Она была способна заставить Энди поверить, будто он уродливейший из людей на свете.

Единственный комментарий относительно интрижки с Карлом поступил от самого Уорхола годы спустя, когда он сообщил вашему слуге, что ему было двадцать пять, когда случился его первый сексуальный опыт, и двадцать шесть, когда он закончился.

Совсем как Корки Уорд, Уиллерс пришел к выводу, что для Энди работа была куда важнее секса и что он не был заинтересован в сексуальных отношениях с кем-либо, хотя умел поддерживать долгоиграющую дружбу. Он остался близким другом Уиллерса в течение следующих десяти лет. Между тем, без его ведома, Энди уничтожил все портреты Уиллерса, включая хранившийся у него в качестве подарка.

Осенью 1953 года Джордж Клаубер подключил Уорхола (в компании с другими бывшими студентами из Теха, Артом и Лоис Элиасами и Имельдой Вон) к групповому чтению пьес в квартире на

Западной 12-й улице. Хотя Theater 12 Group, как назвал кружок хозяин квартиры, бывший любовник Клаубера по имени Берт Грин, впоследствии и добьется успеха, поставив в театре Cherry Lane «Мух» Жан-Поля Сартра, в тот момент компания была едва известна публике. «Обычно на представлениях, – вспоминал Клаубер, – на сцене людей было больше, чем зрителей».

Первое появление там Уорхола хорошо запомнилось Берту Грину и по сей день:

Тогда же пришли еще двое друзей по Питтсбургу, Лоис и Арт Элиасы. Лоис Элиас, которая работала в Питтсбургском репертуарном театре, была очень хорошей актрисой. Артур чтецом был не очень, а Энди был совсем никудышным. Первая пьеса, которую он с нами читал, была «Так поступают в свете» Конгрива, и Энди даже разобрать слова не мог. Ему совсем трудно приходилось. В итоге мы сделали паузу и спросили: «Энди, хочешь перечитать сцену?» А он ответил: «Нет, нет, я застряну». Я думал, он больше не придет,

потому что было серьезным публичным унижением не справиться с чтением перед всем этим народом, но он нисколько не смутился.

В течение следующего полугода Энди посещал репетиции группы и оформлял их программки и декорации. Часто приходил с Имельдой Вон, дамой размером с валькирию и с соответствующим голосом, которая дружила с ним в Техе и с тех пор успела побывать в нескольких психиатрических учреждениях. «Как большинство людей, которые провели немало времени в дурдоме, она была абсолютно в трезвом уме, – вспоминал Берт Грин, – и была для Энди как магнит, когда его самого стало заносить куда-то не туда».

Уорхол был в группе белой вороной, похожий на безумного зубрилу с этими его бабушкиными очками, криво повязанными галстуками и балетками на ногах.

Грин отмечал:

Когда ему нравилось, как играли, он дарил актерам подарки.

Раз подарил кому-то грецкий орех с крошечной куколкой внутри. Он его вскрыл и вытащил ядро, заменив его куклой.

Или мог вручить рисуночек с подписью вроде «Я так рад быть здесь сегодня». С грамотностью у него была беда, но это было так очаровательно, а сам он – изобретательным. Большой ценитель физической красоты, никогда этого не стеснялся. Стоило появиться в группе какому-нибудь привлекательному человеку, пусть даже и женщине, Энди сразу устремлялся к нему, подходил, дарил подарки.

Подспудно, как заметил Грин, Уорхол прилежно учился всему, чему только мог. И он с толком распорядился новообретенным знанием, когда создал в шестидесятых свой собственный театр. Благодаря старейшему члену группы, Аарону Файну, также успешному коммерческому художнику, Уорхол познакомился с эффектом остранения немецкого драматурга Бертольта Брехта, на которого впоследствии ссылался при формировании своей эстетики. Берт Грин:

Он умел разговаривать с Энди так, как мне было не дано. Говорил: «Так, слушай сюда, Энди», – усаживал и разговаривал с ним начистоту. Они друг другу были по душе. Аарон рассказывал весьма оригинальные и забавные вещи, а Энди всегда отлично воспринимал юмор. Энди садился на полу у его ног, пока Аарон беседовал с ним, сидя на диване.

Драматические способности Энди тоже значительно улучшились. Грин был потрясен его исполнением девяностодвухлетнего русского слуги, Фирса, в чеховском «Вишневом саде». Когда Энди произносил «Жизнь-то прошла, словно и не жил...», Грин чувствовал, что тот высказывает какую-то свою внутреннюю тоску: Энди все еще пытался научиться «как надо жить».

Это был последний раз, когда группа из Теха и Энди были по-настоящему близки, пока его успех и образ жизни не отдалили его ото всех, кроме Клаубера. Спустя пять лет после приезда в Нью-Йорк со своими пожитками в бумажном пакете Энди Уорхол преуспел в качестве рекламного художника. У него был собственный бухгалтер, мистер Скиппенбург, подборка портфолио, небольшая, но ценная коллекция предметов искусства и множество сшитых в Гонконге на заказ костюмов в гардеробе. Арт Элиас помнит, как встретил его той зимой на вечеринке у Пёрлстейнов в честь их профессора психологии Клее, который упомянул гомосексуальность Энди, которую тот демонстративно признал.

Кесслер переехал на Лонг-Айленд, оставив Лексингтон-авеню Энди. Лейла Дэвис, бросившая свой ювелирный бизнес и возвращавшаяся в Кливленд, тоже зашла проститься. Она разделяла радость всей их старой компании от того, как далеко удалось Энди зайти (Элиас

бедствовал, а у Пёрлстайна все еще было впереди, а пока он начал подрабатывать верстальщиком, параллельно давая частные уроки рисования), но, как и прочие, переживала, что Энди совершает ошибку, зарывая свой талант художника.

Мощные силы раздирали его в разные стороны. Как написал арт-критик Хилтон Эйлс в своем обзоре карьеры Энди в пятидесятых, противопоставляя хрупкость линии сильному сексуальному подтексту (преимущественно в изображениях мальчиков), Уорхол насмехался над расхожим рекламным стереотипом чудаковатого оформителя витрин или иллюстратора, создавая именно те изображения, которые от него и ждали, но беспрепятственно добиваясь того, о чем другие и не подозревали. «Его разнообразные заказы были приятны глазу и поэтому покупались, но он еще и превратил свою нездоровую увлеченность бабочками, дамскими туфлями и мальчиками в собственный стиль, – писал Эйлс. – Стиль набрал популярность за счет публикаций в журналах и книгах. Он стал его пристрастием. Вот в чем особенность Уорхола». И в этой особенности скрывалась опасность.

Все у него замечательно 1954–1956

Энди не вполне понимал, чего вообще хотел добиться в искусстве. Он был абсолютно расфокусированным. Если забыть про его всепоглощающую творческую жажду создавать что-нибудь и не останавливаться. Было бы легче, определись он хоть немного, но он понятия не имел, что должен был, или мог бы, или обязан был делать. Это было весьма странно.

Чарльз Лисанби

В 1954 году Энди трижды выставлялся в галерее Loft на Восточной 45-й улице, которую на месте своей мастерской устроил знаменитый график Джек Вольфганг Бек со своим помощником Вито Джалло. Энди, которого с Бекем и Джалло познакомил Глак, принял участие в групповой выставке в апреле. Живописец Фэйрфилд Портер пришел на открытие, все с ним были так приветливы и думали, что он напишет им хороший отзыв, а тот накатал язвительную отповедь, клеймя их всех рекламщиками, которые притворяются художниками, и обозвав Loft выставкой рекламы. «Ранние работы Уорхола, выставленные в пору расцвета абстрактного экспрессионизма, предсказуемо вызвали слабый резонанс и привлекли немного сочувствующих, – писал немецкий историк искусства Райнер Кроне. – Их приняли либо за коммерческое творчество, либо, того хуже, за созданные рекламным художником на досуге».

Энди явно не желал поддерживать конфликт между коммерческим и чистым искусством, поступая так, будто считал, что это ниже его или вообще не касается. Его первая персональная выставка в галерее Loft представляла собой серию скульптур из прокрашенной бумаги с нарисованными на ней фигурками. Арт Элиас считал: «Экспозиция была гениальная, потому что это было такое антиискусство, последний гвоздь в крышку абстрактного экспрессионизма». Но Вито Джалло ею был даже шокирован. Он ждал, что Энди выставит что-то из своих рисунков. Энди прокомментировал, что просто хотел сотворить что-то необычное и повеселиться. «Он никогда ничего не анализировал, – вспоминал Джалло, – можно было только догадаться так или иначе, что он задумал и с какой целью, и сам он никогда всерьез других художников не обсуждал. Я был весьма удивлен, что Энди хочет стать художником, потому что думал, будто он интересовался только коммерческим искусством».

Вторая выставка Энди, посвященная рисованным изображениям танцовщика Джона Батлера, получила краткий обзор в Art News от Барбары Гест, которая написала:

Энди Уорхол продемонстрировал оригинальный стиль рисунка и стремление ограничиться невысоким небосклоном, на который всходят привлекательные и капризные молодые люди индустрии, метящие стать совсем как Трумен Капоте или его персонажи. Его техника оставляет впечатление изнанки негатива.

Пусть его творчество привлекало немного серьезного интереса в арт-кругах, на тот момент Энди являл собой не только величину, но уже своего рода звезду в мире рекламы. Все арт-директора крупнейших агентств стеклись на открытие.

Вито Джалло:

Хоть он и был застенчивым и порой замкнутым, все хотели пообщаться с ним. А он просто слушал. Всегда так поступал, никаких комментариев не отпускал, сказать ему обычно нечего было, но всем он нравился, друзей у него были целые толпы, потому что он был не как все. К примеру, он никогда

не ругался. Мог сказать что-нибудь вроде «Вот те раз!», или «Ух ты!», или «Елки зеленые!», а народу это казалось таким милым, и странным, и забавным, и он всегда выражался как-то неожиданно. Был как невинное дитя, что-то в нем было ребяческое, что других пленяло. Хотели познакомиться и узнать его поближе, а я никогда не мог понять, зачем, потому что он ведь просто стоял посреди всех этих людей, льнувших к нему, и отвечивал то «да», то «нет».

Вскоре после знакомства с Вито Джалло в галерее Loft Энди взял его к себе помощником с 1954 по 1955 год.

Я приехал в Нью-Йорк в 1949 году и, заинтересовавшись искусством, так в 1951-м, заметил эти странные отпечатанные рисунки. Другие художники вечно обсуждали, как ему удалось добиться такого эффекта, и никто толком не понимал, как он это делает. Когда он зашел в галерею и нас познакомил Натан, я подумал: «Надо же, какой он застенчивый юноша, очень застенчивый». И мы сразу приглянулись друг другу. Очень подружились. Я подыскивал себе подработку, а Энди всегда был готов помочь, и рисунки мои ему были по душе, вот он и сказал: «Есть для тебя подработка».

На тот момент у него было много дел сверх плана, и я приходил к нему в квартиру каждое утро и работал над разными проектами. Копировал его рисунки. Когда я освоил блокирование, он рисовал, а я обводил чернилами, потом сворачивал бумагу так, чтобы точно совпадало, и получалось, словно сделал он сам. Нельзя было догадаться, что это кто-то другой, потому что я просто повторял за ним.

Он всегда, абсолютно всегда носил слаксы, белые носки, мокасины и рубашку нараспашку. Я и не помню его с галстуком. На самом деле он всегда говорил мне: «Не понимаю, зачем ты галстук носишь. Не нужно его вообще носить». Но я не помню, чтобы он и неряшливым был, никогда не ходил запачканным в краске.

Вообще в квартире мебели почти не было. Это была квартира-распашонка. В самой последней комнате в конце коридора, где была ванная, находилась спальня, и я заметил, что кроватей не было, только два матраца рядышком на полу.

В остальном квартира была несколько пустынна, исключая его чертежный стол, лайтбокс и черно-белый телевизор, часто включенный. Я наблюдал, что он много работал под телевизор, сидел подогнув ноги с блокнотом на коленях, пока его мать держала ботинок, который он рисовал. А потом она его надевала, а потом и оба напяливали, и они хохотали, потому что в этих ботинках она была очень смешная. И шагу в них сделать не могла, слишком широкая нога была, ходила всегда босиком. Энди очень смеялся.

Я приходил туда часов в десять-одиннадцать и работал до обеда. Он получал заказы без перерыва. Являлся, пожалуй, самым востребованным рекламным художником в то время, получая грандиозно высокую зарплату; сто – сто двадцать пять долларов в неделю считались хорошим заработком для работника в мастерской. Он зарабатывал где-то тридцать пять – пятьдесят тысяч за год. Он даже говорил, что посылает деньги домой, братьям.

Я нравился его маме, и для него имело большое значение, что кто-то мог пообщаться с нею и отлично ладить. Она была ему предана, и казалось, что вся ее жизнь вращается вокруг Энди. Вряд ли у нее много знакомых было. Она беспрестанно предлагала нам бутерброды все время, что мы работали, и

никогда не понимала, о чем мы разговаривали. С ней он говорил по-чешски и, по-моему, не слишком ее уважал. Как-то я сказал ему: «Знаешь, твоей маме приходится преодолевать эти пять пролетов, чтобы сходить в A&P, и подниматься своим ходом по лестнице со всеми покупками. Разве ей не тяжело?» Он ответил: «Ой, нет, ей нравится». Она носилась по комнатам, готовя, чистя и убирая. Он целиком от нее зависел, что всегда меня немного шокировало, но, кажется, ей это действительно доставляло удовольствие.

Энди любил сплетни. Я любил сплетни. У нас всегда был отличный контакт в плане «что, где, когда». Никогда не говорили об искусстве, всегда только о людях и вечеринках, кто с кем пришел. Он желал знать обо мне все. Чем занимаюсь? С кем вижусь? Но о себе никогда фактами не делился. Я всегда подкидывал ему много информации, которую он хотел слышать. Поэтому и ладили. Он любил поговорить о парнях: кто был классный, кто был сексуальный, интересовался, не встречался ли я с таким-то парнем и как он, какого телосложения, всегда очень интересовался сексом, а его манера одеваться была очень двусмысленной, вызывающей, штаны в обlipку, он был весьма заинтересован в сексуальном плане другими мужчинами, и мы часто обсуждали это. Думаю, Энди получал настоящее чувственное удовольствие от этих разговоров. «По-моему, тебе стоит с ним пойти и сделать то-то и то-то, по-моему, вы подходите друг другу». Любил такое, ему этого было почти достаточно, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит.

У него была подруга по имени Валери, а у той парень моряк, и в определенные вечера недели он ходил к ним на уроки, они обучали его сексу. Думаю, он приходил просто понаблюдать и взять что-нибудь на заметку, но, по-моему, это было забавно. Я того парня никогда не встречал, но Энди подтвердил: «Да, раз в неделю они меня зовут и проводят уроки секса».

Он никогда не жаловался на личные дела. Думаю, он радовался жизни, где и чем бы ни занимался. Никогда не заговаривал о чем-либо неприятном. Обратную сторону мне не показывал. Даже если ему не нравилась чья-либо работа, он всегда хоть что-то хорошее в ней находил. Никогда не обращал внимания на плохое. Для меня он всегда был бодр. Никогда не бывал не в духе, никогда, совсем. Вот почему мне нравилось общаться с ним. Он всегда был доволен всем по жизни. Вот что в нем так освежало. Все у него замечательно.

Вскоре после найма Вито осенью 1954 года Энди по уши втрескался в Чарльза Лисанби. Их отношения продлились почти десять лет.

Чарльз был самым выдающимся человеком из тех, в кого Энди когда-либо влюблялся. Он был невероятно хорош собой: высокий, элегантный, аристократичный, а также шикарный тусовщик, который знал каждого, кто того стоил. Некоторые считали его несколько высокомерным, но Энди только такого и было нужно – преуспевающего. Чарльз вращался в кругах, к которым принадлежал Джеймс Дин, встречался с актрисой Кэрол Бёрнетт и работал с фотографом Сесилом Битоном. Именно с этими людьми Энди хотелось ассоциироваться.

Энди оставил у Чарльза впечатление, будто «любая романтика попросту сбивала его с ног, и он всегда был в поисках любви, но все не находил ее. По-своему я действительно любил Энди за его многочисленные привлекательные черты. Он источал невероятную незащищенность, словно Мэрилин Монро или Джуди Гарленд, и ты чувствовал: „Вот бы защитить его от всех проблем на свете...“ Так думали практически все, кого он встречал, и хотели, чтобы он был счастлив и получил все, о чем мечтает».

На заре их отношений Энди подарил Чарльзу свою фотографию в детстве, на которой, по мнению Лисанби, «он выглядел словно прекрасный певчий Боттичелли, Маленький Принц,

дитя другого мира. Он вручил мне ее, потому что в глубине души всегда себя таким видел, и в глубине души он был замечательным человеком. Это я в нем по-настоящему любил. Но у него был кошмарный комплекс неполноценности. Говорил, будто он с другой планеты. Мол, не понимает, как тут оказался. Энди так хотел быть прекрасным, а надевал этот жуткий парик, который ему не шел и вообще выглядел ужасно».

Тысяча девятьсот пятьдесят пятый год выдался для Энди отличным. Ему нравилось жить светской жизнью с Чарльзом. Чарльз водил его на шикарные вечеринки.

Мы оба ни разу больше бокала вина не выпили. Я прохаживался, а Энди сидел в уголочке, не вымолвил и слова. Думали, что он отсталый. Вот уж отсталым он точно не был. И сам не понимал, насколько умен.

Невероятно вдохновляемые друг другом, Энди с Чарльзом «болтали без умолку». Чарльз считал, что Энди «интереснейший персонаж, который мне только встречался, самый странный паренек с оригинальным и уникальным взглядом на все». Как-то Энди вручил Чарльзу телевизор. В другой раз, когда они застряли у витрины, любуясь чучелом попугая, купил и подарил его Чарльзу. Его голубой мечтой было провести с Чарльзом воскресный бранч в Plaza.

Сразу после их знакомства Энди начал предпринимать попытки улучшить свою внешность комплексно и безотлагательно пошел в спортивный зал. Он договорился со своим типографщиком, выпустившим его промо-книжки, вроде «25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка» к Рождеству 1954 года, Сеймуром Берлином, о тренировках в McVigne YMCA три вечера в неделю. «Когда он только пришел, – вспоминал Сеймур, – и отжаться-то не мог, но он очень серьезно занимался, потому что разницу в силе было видно». Сеймур считал, что Энди слишком молод и еще не набрал форму. Никогда не выглядел расслабленным, всегда был каким-то напряженным, когда не тренировался. Потом он стал много рассказывать и поведал Сеймuru о своих приключениях по пути в могущественный мир нью-йоркских знаменитостей, как покупал костюмы по пятьсот долларов, как резал их бритвами или пачкал краской, чтобы привлечь к себе внимание, и посылал подарки Трумену Капоте и Сесилу Битону в надежде, что они захотят с ним встретиться. Сеймур был весь внимание, но он сделал для себя вывод, что в нужде Энди приблизиться к этим людям было что-то глубоко неправильное. «Вечно для Энди важны были не те вещи, – вспоминал он. – Его отношения с деньгами были нездоровыми. Не тратил на то, в чем нуждался, зато изводился в пух и прах на походы куда-нибудь вроде Plaza, просто чтобы иметь возможность говорить, что был там. В каком-то смысле у него было раздвоение личности. С одной стороны, очень, очень расчетливый бизнесмен, с другой стороны, фаталист. Несколько раз мне говорил, что всегда знал, будто умрет рано. Но в период нашего общения тусовки и встречи с известными личностями составляли важную часть его жизни. И он очень огорчался, если они не отвечали на его презенты и письма. Жаловался, что они его используют!»

«Он всегда увлекался знаменитостями, – утверждал Пол Вархола. – Хотел ходить на всякие вечеринки. В смысле, встречает приятеля и заявляет: „А возьми-ка меня с собой на эту вечеринку. Там будет такой-то“. Говорил: „Пусть даже это будет стоить мне денег. Я хочу туда! Хочу заводить знакомства!“ И продолжал в том же духе. Дело шло. Это потом ему платили, чтобы попасть на вечеринку».

Понятие славы в пятидесятые, особенно в мире искусства, несколько отличалось от того, во что она впоследствии превратилась.

Роберт Хьюз писал:

Уорхол был первым американским художником, чьей карьере известность была действительно присуща. О публичности и речь не шла у художников в сороковые и пятидесятые. Когда Life сделал Джексона Поллока

знаменитым, это было как гром среди ясного неба; но подобное случалось достаточно редко, чтобы быть чем-то из ряда вон, не вполне типичным.

По сегодняшним меркам, мир искусства был девственно неопытен в области средств массовой информации и того, как их можно использовать. Телевидение и пресса, в свою очередь, были равнодушны к тому, что все еще называлось авангардом. Под «известностью» подразумевалась заметка в New York Times, в абзац-другой длины, за которой обычно следовала статья в Art News, которую прочитало бы тысяч пять. Все остальное считалось чуждым профессии – к чему следовало относиться с опаской, в лучшем случае как к случайности, в худшем – как к бессмысленному отвлечению от настоящего дела. Обхаживать можно было критика, но никак не модного репортера, продюсера на телевидении или редактора Vogue. Представлять собой инструмент привлечения к себе внимания общественности было абсолютно неприемлемым в глазах нью-йоркских художников сороковых и пятидесятых – вот почему презирали Сальвадора Дали.

Карьера Энди также сделала большой скачок в 1955 году, когда он получил свой крупнейший заказ в пятидесятые, сделавший его по-настоящему знаменитым в мире рекламы. Это было еженедельное рекламное объявление для модного манхэттенского обувного магазина I. Miller на страницах светской хроники воскресного выпуска New York Times. Рынок обуви в пятидесятые был необъятным и покупал много рекламы. Познакомившие Энди с I. Miller вице-президент Джеральдин Штутц и арт-директор Питер Палаццо знали его с самого приезда в Нью-Йорк. Они ценили талант Энди, считали его настоящим художником, его и выбрали для запуска кампании по смене подпорченного имиджа магазина. Тема идеально подходила Энди, он был в восторге от проекта; небольшая, но все увеличивавшаяся, преимущественно гейская, аудитория начала узнавать каждый уорхоловский рисунок, она открывала свой воскресный выпуск Times в предвкушении и радовалась новой картинке. Джеральдин Штутц:

От выразительности и аскетичности работ Энди у людей дыхание перехватывало. Питер Палаццо и Энди были настоящими родственными душами в сфере искусства, и Энди всегда гордился тем, что делал именно то, что мы и хотели, но на самом деле мы просто высказывали ему свои пожелания в упрощенном виде. Он брал идею и возвращался, трансформировав ее во что-то универсальное, необычное и неповторимое само по себе. Результатом стало сенсационное возвращение к жизни брэнда I. Miller.

Незадолго до того, как I. Miller стал его клиентом, отношения Энди с Вито Джалло разладились.

У Энди была манера бросать людей. Постоянно названивал и говорил: «Ой, пошли сегодня на вечеринку». Подбирал мне пару: «Вот этот тебе бы подошел», – у него это получалось, мило было. Но он всерьез рассчитывал, что я буду с ним ходить, и как-то он хотел пойти и посмотреть на забавы Валери с ее парнем, а я не мог, и он остался недоволен, после чего я долго о нем ничего не слышал.

Осенью 1955 года Натан Глак, который и познакомил Вито с Энди, занял его место помощника Энди. Хотя и несколько скромный, Натан был талантлив, с оригинальными идеями, хорошим вкусом и чувством юмора. Когда был в восхищении или расстройстве, восклицал: «Господи Иисусе!». «Мама бы предпочла, чтобы ты не выражался», – Энди пришлось сообщить ему. Натан быстро наладил хорошие отношения с Юлией, которая потчевала его

своими характерными, зачастую уморительными версиями библейских сюжетов, в одной из которых «Моисей родился у вола».

Натан был первым из подобранных Энди выдающихся ассистентов. В следующие девять лет его идеи и участие так сильно повлияли на карьеру Энди, что многие общие друзья считали, будто Глак стал первой из уорхоловских жертв, что Энди использовал и зажимал его. Глак спокойно отвергает эти обвинения. По его мнению, он был помощником Энди, а не соавтором.

Одним из значительных его вкладов в самом начале было получение для Энди заказа на оформление витрин для Джина Мура в Bonwit Teller's. Мур стал очередным профессионалом в этой сфере, которого потрясли сам Энди и его работы: «Внешне он всегда был таким милым и беззаботным. Была у него эта любезная, не от мира сего, детская манера, которую он практиковал, но это все равно было славно – и то же касается и его работ. Они были светлые, с особым шармом, при этом всегда были по-настоящему прекрасные линии и композиция. Больше никто в сходном стиле не работал».

Как только реклама Энди I. Miller, с ее свежестью, выразительностью и замечательным использованием белого пространства, начала приносить плоды, Энди не упустил возможность развить тему. Стефан Брюс вспоминал, как он пришел в Serendipity с огромным портфолио не подошедших I. Miller рисунков и спросил: «Что мне со всем этим делать?». Раз белый был основной характеристикой помещения, и все, что там находилось, включая лампы Tiffany и белоснежный фарфор, продавалось, Стивен предложил Энди вставить их в раму и продавать в магазине за пятнадцать – двадцать пять долларов. И вот уже Энди принес целый альбом акварельных рисунков туфель, озаглавленный A la Recherche du Shoe Perdu, и тоже его целиком распродал. Serendipity стала одной из первых уорхоловских «фабрик», и он создавал произведения искусства прямо за столиками в обмен на обед. «Вообще я думал, что Энди никогда рубашку не меняет, – говорил Стивен Брюс. – Говорю: „Ты каждый день в одной и той же рубашке“. Он говорит: „Да нет, у меня их куплена сотня, меняю каждый день“».

И все же было ясно, что распродажа рисунков в кофейне, пусть и кофейне с клиентурой Serendipity, не привела бы к признанию Энди настоящим художником. Ярлыки всегда были и все еще остаются очень важными в мире искусства. Если тебя знали как коммерческого художника, ни одна серьезная галерея в твоих работах не будет заинтересована. Все это очень смущало Энди, потому что в его Карнеги Техе продвигали линию баухауса: будто между коммерческим и изящным искусством разницы нет, и разочарование от осознания того, что все не так, может быть другой причиной, по которой до конца своих дней он будет отрицать, что годы в Техе имели для него какую-либо пользу.

Дилемма возникла вновь в особо раздражающей форме в тот год, когда рекламная карьера Энди достигла своего пика, когда его старый друг, однокашник и сосед Филип Пёрлстайн был допущен в престижную галерею Tanager. Невзгоды Пёрлстайна периодически становились предметом насмешек между Энди и его гомосексуальным окружением, которые полагали, что лучше представляют Zeitgeist, чем интеллектуалы вроде него, и теперь Энди отреагировал с легкой агрессией, которая впредь станет для него типичной. Tanager была галереей кооперативной, а это значило, что сами художники решали, чьи работы там будут выставляться. Энди вручил Пёрлстайну подборку рисунков обнаженных мужчин и попросил выставить их в Tanager. Нью было абсолютно подходящей темой, но Энди представил работы в настолько очевидно гомосексуальной манере, что Филип оскорбил бы своих глубоко возвышенных коллег, подсунув им подобное. Когда он попытался объяснить Энди, что, возможно, рисунки стоило бы выполнить чуть беспристрастнее, Энди прервал его, притворившись, будто не понял, что тот имел в виду. У Пёрлстайна осталось впечатление, будто Энди «показалось, что я его подвел, и с тех пор мы редко общались», но, скорее всего, само его требование являлось актом отчуждения и вызова.

Энди сворачивал на странный путь, намечающий то, насколько его искусство станет восставать против правил. Гомосексуальность может сойти тебе с рук в искусственном мире Нью-Йорка пятидесятых, только если ты не подпускаешь ее к своей профессии. Но Энди продолжал поиск художественной галереи, которая выставила бы его откровенно гейские рисунки и картины. «Другие могли поменять свое отношение, а я нет – я знал, что был прав», – напишет он позже.

Осенью 1955 года он продемонстрировал портфолио под названием *Drawings for a Boy Book* (преимущественно члены с повязанными вокруг них бантиками, отпечатанными поцелуями и лицами молодых красавцев) Дэвиду Манну, бывшему помощнику Иоласа, который теперь владел собственной галереей Bodley напротив Serendipity. Дэвид оценил работу и решил устроить ему выставку.

Союз с Дэвидом Манном стал серьезным шагом в карьере Энди. Манн был полноценным дилером, специализировавшимся на сюрреализме, с хорошими связями. В течение нескольких лет он будет играть важную роль в достижении признания творчества Энди.

Чарльз помог развесить экспозицию, которая открылась в День святого Валентина, 14 февраля 1956 года. Подавали шампанское и мартини. Энди нарядился в элегантный костюм индивидуального пошива. Несмотря на то что галерею заполнили его друзья, по большей части весьма привлекательные молодые мужчины, Энди казался Дэвиду абсолютно не в своей тарелке. «Он был одним из самых застенчивых людей, кого я когда-либо встречал. Он был очень рад всех видеть и приветствовал своих приятелей, но невероятная стеснительность была его характерной особенностью».

Энди всегда переживал и никогда не был доволен оценкой его работ или их продажами. Он боялся, что никто не придет, что критики его разорвут и что никто ничего не купит. На самом деле, несмотря на то что рисунки были оценены только в пятьдесят-шестьдесят долларов, продалось только два или три из них, и он сказал: «О, боже мой, опять провал!». В следующие годы переход Энди от этой уязвимости к враждебности приведет его к успеху.

Прием был прохладным. Нельзя было ожидать, что критики всерьез воспримут рисунки нарциссических юношей руки гомосексуального оформителя витрин, пусть они и сделаны в манере Кокто или Матисса. Несмотря на недостаточный интерес критиков, в апреле при помощи Дэвида Манна несколько наименее вызывающих рисунков Энди было включено в выставку *Recent Drawings* в Музее современного искусства (MoMA).

Ну и что? 1956–1959

*Все было именно таким, каким хотелось видеть.
Энди Уорхол*

Юлия никогда в открытую не допускала, что Энди голубой, но на протяжении пятидесятих годов извиняла происходящее, обращаясь с его бойфрендами как с приемными детьми. Чарльз Лисанби регулярно приходил на Лексингтон-авеню обедать и прекрасно с ней ладил. Когда Энди отправился в кругосветное путешествие с Чарльзом с июня по июль 1956 года, Юлия и Пол, приехавший из Питтсбурга присматривать за ней в отсутствие Энди, отслеживали их маршрут по картам, нарисованным Энди, который засыпал их многочисленными открытками, подтверждавшими, что он в порядке и отлично проводит время. К середине поездки, правда, гнет невыясненных отношений стал испытывать терпение Энди.

После Бали они посетили руины Ангкор-Вата и последовали дальше в Бангкок, где Энди был особенно впечатлен черной мебелью с золотыми листьями – нечто похожее он вскоре использует в своей работе. Чарльз считал реакцию Энди на Восток столь же оригинальной, что и его реакцию на Нью-Йорк, и постоянные переезды требовали от него слишком много времени, чтобы волноваться о происходящем между ними, но Энди такому раскладу был совсем не рад. Не так он себе все это представлял. Даже после его откровения (все именно так, как решишь о нем думать) Энди все еще не оставлял надежду, что Чарльз вдруг сдастся и посчитает, что у них что-то должно получиться.

Мечты Энди были разрушены раз и навсегда, когда Чарльз получил пищевое отравление. Его ужасно тошнило, когда они прибыли в Калькутту, один из самых грязных и вонючих городов Индии. Энди, который ел с ним одно и то же, не пострадал. Чарльз же с трудом мог доползти до туалета. В отель пришел доктор, прописал несколько недель покоя и дал каких-то лекарств. Тем же вечером они прочитали в газете о смерти на ступенях больницы беременной женщины, которой назначили не то лекарство, и Чарльз решил, что не желает умирать в Калькутте. Они вылетели из Калькутты в Рим через Каир.

С этого момента в путешествии началось новое безумие. При посадке в Каире Энди и Чарльз были поражены, увидев, что аэропорт оцеплен солдатами и танками. Это было за несколько месяцев до Суэцкого кризиса. У всех отобрали паспорта и погнали от самолета по взлетно-посадочной полосе под свист истребителей, топот солдат и выкрики команд, завели в барак, где заставили посмотреть пропагандистский фильм и потом повели обратно в самолет. Энди был заботлив, но все так же отказывался брать на себя ответственность за их билеты, паспорта и багаж, несмотря на то что Чарльз едва мог стоять. Ему пришлось побеспокоиться, чтобы их паспорта вернули. Энди же просто болтался вокруг, словно зомби. В Риме они оказались на следующее утро, а в Grand Hotel Чарльз с радостью упал в кровать и вызвал итальянского врача.

Две последующие недели он был привязан к постели. К его немалому разочарованию, Энди таки решился провести эти пару недель не осматривая достопримечательности Рима, а сидя у постели Чарльза, рисуя его бодрствующим и спящим, наслаждаясь безраздельным обществом объекта своего желания. Уже скоро Чарльзу это стало в тягость. Само присутствие Энди в комнате отбирало у него силы, которых и так было мало. Только расслабишься, как тот уже был рядом. Лисанби умолял его хотя бы сходить посмотреть на папу, и Энди таки совершил несколько экскурсий, вернувшись в печали с купленными шарфами. Когда Чарльз

поправился, и они поехали на север во Флоренцию осмотреть тамошние красоты, Энди ходил, демонстративно понуро мыча «Ух ты!» или «Надо же!» перед Тицианом или Боттичелли.

Ко времени их приезда в Амстердам он значительно повеселел, и они хорошо проводили время, отдыхая, по выражению Чарльза, от путешествия, разъезжая по лучшим окрестным ресторанам и осматривая город.

Чарльз был шокирован до предела, когда Энди улизнул, стоило им пройти таможенный контроль в аэропорте Кеннеди, оставив его со всеми их сумками и пакетами: сел в такси и поехал домой, и слова не сказав. «Словно совсем другой человек вдруг появился, – переживал он. – Я и представить себе не мог, что Энди может быть таким решительным. Будто вся эта поездка на самом деле была притворством, он все уже высказал в Гонолулу и просто терпел до дома. Я был просто в ярости».

Как, кажется, и Энди. Его брат Пол заметил, что «он был не особо доволен Чарльзом Лисанби. Говорю: „Что теперь с Чарльзом Лисанби, вы с ним теперь не друзья?“ Говорит: „Ну, он вел себя как свинья. Забрал себе многое, что мы вдвоем покупали“. Энди был обижен. Говорит: „Вот ведь! Затеешь поездку вокруг света и захочешь оставить себе кое-какие фотографии, а он все изгадит“».

Но другому своему гей-приятелю Энди пожаловался, что «проехался с парнем вокруг света и даже поцелуя не добился».

Прождав в запале несколько дней в ожидании звонка, Чарльз понял, что Энди звонить не будет, поэтому сделал это сам и сказал: «Энди, почему ты так поступил?».

Энди сделал вид, будто ничего не случилось. «Ой, а чего не звонил-то? – спросил он. – Мне показалось, что надо было ехать домой одному».

Они остались друзьями, много виделись в последующие восемь лет, но уже никогда не было как прежде. Чарльз чувствовал, что Энди в него все еще влюблен, но уже никогда не простит. Осознал, что у них просто нет никаких шансов, что ничему не бывать. Порой Энди озвучивал, что, живи они вместе, все было бы намного проще, но никогда уже не давил, как тогда в Гонолулу.

Отказ Лисанби, может, и стал ударом для Энди, но ему было чем развлекаться. Ребята из Serendipity уговорили его снять второй этаж на Лексингтон-авеню, 242, откуда съезжал Калвин Холт, оставить Юлию на четвертом и начать кутить в свое удовольствие, хоть немного. Пора было перестать ютиться в этой пещере летучей мыши без мебели, говорили ему они. Считали, что Энди всегда робел перед гламурной жизнью, которой так жаждал, не надеясь, что может ею жить, и они помогали ему поверить, что может.

Пока Энди продолжал работать наверху последние месяцы 1956 года, они обставляли квартиру снизу. В итоге они создали сценическое пространство, ставшее новой модной тенденцией. Стефан и Калвин разместили длинный белый плетеный диван в гостиной и установили по белой деревянной колонне с большим шаром наверху с обеих его сторон. Над ним раскинулись листья высокой пальмы в горшке. Если не считать пары рустикальных кресел-качалок, сделанных из лозы и веток, гостиная в остальном была пустою, так что, сидя на диване, чувствуешь себя словно в декорациях пьесы Теннесси Уильямса. В передней комнате они поставили большой круглый стол, поставив вокруг него восемь стульев из древесины. Над столом висела огромная стеклянная люстра от Tiffany. Окна закрывали белые занавески, а кухонный буфет был заставлен прекрасным белым фарфором. Знакомый соорудил стереосистему. Золотая кровать с балдахином в стиле Людовика XIV и содрванная с Эрты Китт тигриная шкура в качестве напольного коврика оказались в спальне.

Теперь у Энди была своя собственная площадка для игр, и он начал устраивать вечеринки. Впоследствии гости вспоминали, какими же веселыми были эти сборища. Энди запускал через стерео мелодии из бродвейских шоу, и все им приглашенные были, так или иначе,

в самом расцвете своей юности. На вечеринках было полно эксцентричных девиц, которых он всегда старался поддерживать, и самых красивых юношей. Энди теперь притягивал к себе множество людей, потому что внешне он всегда казался уверенным, делился льющейся через край энергией и всех воодушевлял.

Под влиянием Натана Глака, квартира которого сама напоминала музей, Энди стал собирать произведения искусства. Он приобрел акварели Магритта и Челищева, рисунок Стейнберга, раннего Клее, цветной оттиск Брака, Миро, литографии Пикассо и песчаную скульптуру Костантино Ниволы (которую Юлия привязала к книжному шкафу веревкой, узнав, во сколько та обошлась). Натан был недоволен бесперемонностью, с которой Энди обращался со своими приобретениями. Большинство было прислонено к стене и развешено без рам.

Спонтанно Пол и Джон нередко могли решить: «Эй, а не поехать ли в Нью-Йорк к бабе!» – и осаждали с детьми квартиру Энди. Тот вроде бы радовался их визитам не меньше Юлии.

Джордж Вархола:

Он установил для нас двухэтажные кровати. Баба ходила на рынок, покупала овощи и готовила на большой плите. Энди покупал нам подарки. Однажды это был очень классный фотоаппарат. Снимаешь, и выскакивает мышка.

Энди совершил настоящий прорыв своим шоу Crazy Golden Slippers в галерее Bodley в декабре 1956 года. Это были большие заблокированные рисунки ботинок, раскрашенные золотым или украшенные позолоченным металлом или фольгой, как та лаковая мебель в Бангкоке. Холодные, иконографические золотые тапки стали разительным контрастом с его интимными, вуайеристскими мужскими портретами, выставленными в начале того года, и, может быть, поэтому имели больший успех. Он дал каждой обуви имя: Элвис Пресли, Джеймс Дин, Мэй Уэст, Трумен Капоте и Джули Эндрюс в числе прочих получили по ботинку, отражавшему их индивидуальность. Джули Эндрюс с мужем Тони Уолтоном пришла на открытие, как и актриса Тэмми Греймс. Гей-представительство было урезано.

За выставкой последовал цветной разворот с Crazy Golden Slippers в журнале Life. Энди так беспокоился, что его труды отвергнут, что потащил Дэвида Манна с собой в редакцию Life. «Энди все повторял: „Ой божечки! Им абсолютно не понравится, все будет ужасно, меня с потрохами съедят”^a, – вспоминал Манн. – Он был весь как на иголках».

С помощью Дэвида Манна Энди начал добиваться некоторого успеха в качестве художника в претенциозном гомосексуально-модно-знаменитом кругу. Светский лев Джером Цыпкин заказал ему «обувной» портрет. Патрик О'Хиггинс, личный помощник шишки косметического бизнеса Элены Рубинштейн, обратился в Дэвиду Манну.

Он вспоминает:

Сказал, что мадам посмотрела выставку, и не согласится ли Энди сделать и ее портрет, и он согласился. А потом мне звонит Патрик и говорит: «Насчет портрета: мадам он очень понравился, но нельзя ли скостить цену?» Я говорю: «Ну, знаете, она и так всего сто двадцать пять долларов и была написана на заказ», – и слышу ее голос там, на заднем плане: «Скажи ему сто!», он говорит: «Она хотела бы сто». Я сказал: «Ну нет, едва ли». И тогда он сказал: «Ну ладно, она его все равно берет». Энди расстроился. Сказал: «О боже! Да за кого она меня держит?» Но двигался как раз в сторону этого делового мира.

Светская львица Д. Д. Райан купила золотой ботинок, посвященный Трумену Капоте, и послала его ему в качестве рождественского подарка с сопроводительной запиской, упоминавшей Уорхола. «Он становится очень известным. Очень востребованным», – написала она. «Даже тогда мне и в голову не пришло, что он жаждет быть художником или живописцем, –

вспоминал Капоте. – Я думал, он был просто один из этих, „сочувствующих“. Насколько мне известно, он же был оформителем витрин... Ну, чем-то в этом роде».

Язвительная реплика Капоте была, как ни печально для Энди, не в бровь, а в глаз. И даже если бы у него остались какие-нибудь иллюзии насчет того, сделают ли ботинки его ровней Джексону Поллоку, можно было просто прочесть титул разворота в *журнале* Life. Там его описывали как «рекламного художника», который набросал «воображаемые образчики обуви, разукрасив их конфетными мотивами в рамках своего хобби». Попасть в Life было одной из самых серьезных целей Энди, это бесспорно отражало, какого успеха он добился, но это был его потолок в пятидесятые. Тут-то он и застрял.

Осенью 1956 года Энди, который ходил в спортивный зал уже два года и так натренировался, что мог отжаться раз пятьдесят, предпринял еще одну отчаянную попытку улучшить свою внешность, в этот раз подправив нос. Врач ли ему посоветовал или еще кто сказал, что с возрастом он станет похожим на комика У. К. Фильдса, Энди, которого особенно смущала пористая красная кожа его носа, отправился в клинику Св. Люка на косметическую операцию. Тем не менее, прождав две недели, пока сойдут шрамы, он обнаружил, что она совсем его внешний вид не улучшила. На самом деле, ему казалось, что только ухудшила.

Чарльз Лисанби:

Он был очень неуверен в себе физически, в плане внешности, физической формы и тому подобного. У него определенно была идея, будто, сделай он себе операцию на носу, это вдруг изменит всю его жизнь. Думал, что превратится в Адониса, а я и другие мгновенно начнем думать, будто он столь же привлекателен, как и все те очаровательные персонажи, чьей привлекательностью он и сам восхищался.

А когда этого не произошло, он обозлился.

Дэвид Манн выслушивал жалобы Энди на то, что Чарльз больше не находит для него время.

Энди, как ни удивительно, не был счастливым человеком в пятидесятые. Не был он веселым и радостным. Он был очень серьезным, и, если честно, думаю, ему часто не везло в делах любовных. Энди теперь интересен как личность, но молодым человеком он был очень непривлекательным. Плохая фигура, проблемные волосы, плеч нет. В общем, черт-те что. И ведь всегда влюблялся в этих прекрасных мальчиков. Даже когда они становились друзьями и ходили на его вечеринки, последнее, что их интересовало в мире, это отправиться с ним в постель. Это его не сильно радовало.

Друзья заметили очевидную перемену в милом, благодушном Энди, у которого все-то было замечательно. Когда умер Дуги, долгие годы являвшийся другом Ральфа Уорда, Энди не высказывал соболезнований, зато настырно интересовался, продаются ли его рисунки Челищева, чем заработал презрение Ральфа надолго. Когда модный фотограф Дик Ратледж сказал ему: «Не могу больше терпеть Америку. Не могу больше терпеть этот долбанный мир моды. Я покончу с собой!» – Энди сказал: «Ой, а можно мне твои часы?» Часы были очень дорогими, а Ратледж снял их и кинул в Энди. Тот подобрал и хранил их до конца своей жизни.

Фиаско в улучшении собственной внешности, кажется, не ослабило страсть Энди к его очередному возлюбленному, тоже прекрасно выглядящему молодому фотографу Эду Уоллоуичу, но, пожалуй, повлияло на то, как у них все развивалось. Эд Уоллоуитч делил жилье со своим братом Джоном, пианистом, в доме 8 по Бэрроу-стрит в Гринвич-Виллидже. Это был подвал двадцати пяти метров длиной, где братья Уоллоуич держали свой светский салон, куда приходили с вином и смотрели старые фильмы в счет оплаты ренты. Тут виллиджская гейская

тусовка противопоставлялась верхне-истсайдской, куда Энди попал вместе с Чарльзом, и тут было очаровательно. Энди стал проводить на Бэрроу-стрит много времени. Поначалу Джон очень радовался связи Уорхол – Уоллоуич:

Мне казалось, эта пара совершит вместе что-нибудь действительно стоящее. Эд не мог от Энди оторваться, а Энди был от Эда без ума. Мы очень много смеялись. Брат блистал остроумием, а Энди в ту пору был таким милым. Прелестным. Артистичным. Как-то мы поехали к нему повидаться с миссис Уорхол, и он показал нам два холодильника. Один был полон шампанского, как он сказал, для нее. Энди с Эдом были невероятно близки, и Энди часто ночевал у нас в Виллидже.

Между тем сценарист Роберт Хейде, работавший с Уорхолом на нескольких фильмах в шестидесятые, видел те отношения по-другому:

Там постоянно очень злоупотребляли выпивкой. Налегали на мартини, только Энди не пил. Он был такой ребенок. Эдвард очень серьезно относился к своему делу, это было его больное место, но им помыкал его брат, Джон, который во все лез, и они активно соперничали. Энди, на его взгляд, был несколько замкнутым и сдержанным. Он начал носить темные очки, и Хейде подумалось, «что в какой-то степени Энди всегда играл, что он настоящий оставался скрытым ото всех, и с Эдипом там точно были проблемы. Присутствие его матери было могущественным, даже пугало – «Мой Энди не может поступить плохо. Он хороший мальчик», и Энди откатывался назад в свои четыре-пять лет. Те, кто выкидывает коленца, чтобы доказать что-то родителям, часто и в отношениях с другими ведут себя со свойственным братьям крайне агрессивным чувством соперничества, и, по-моему, этим все и объяснялось. Мне он [Эд] казался не шибко умным, но в то же время что-то в нем было противное. По мне, так он был из тех, от кого стоило держаться подальше.

На какое-то время Эд Уоллоуич, пожалуй, узнал Энди лучше, чем кто-либо, и увидел его полнее. Роман с Эдом был определенно самым сексуально активным, что у него когда-либо случался, и Эд сделал прекрасные фотографии Энди в постели, на которых он выглядит симпатичным и умиротворенным – в гармонии.

Американский стиль жизни в эпоху Эйзенхауэра основывался на безостановочной экономической экспансии, масштабной и стремительной. Все становилось крупнее и быстрее, а Нью-Йорк стал портом. Энди вел суперактивную жизнь и действовал в разных областях одновременно и в целом, скорее, преуспевал. Его доход не переставал расти. В 1957 году Энди был настолько финансово успешен, что по совету своего бухгалтера мистера Скип-пенбурга учредил Andy Warhol Enterprises. Несмотря на то что он уже несколько лет зарабатывал серьезные деньги, Энди с его семьей все еще вели себя как параноики и не понимали, как ими распорядиться. Каждый раз, когда Энди устраивал выставку в галерее Bodley, Юлия плакалась, что он потратил пять тысяч долларов на шампанское, а ничего не продал. «Он зарабатывает сто тысяч в год, зато тратит сто двадцать пять тысяч», – сказала она Полу. Энди, со своей стороны, так боялся налоговой службы, что Пол начал думать, будто кто-то морочит тому голову.

Парень все приезжал из Коннектикута выпускать его книги, и не удивлюсь, если он прикидывался агентом налоговой, чтобы слегка припугнуть Энди словами: «У тебя серьезные неприятности!». Я почти уверен, что он воспользовался Энди, потому что поначалу хотел стать его партнером и указать свое имя и имя своей жены в качестве президентов компании. Думаю,

это было мошенничество. Как только Энди от него избавился, сразу очень разбогател.

А мама, вот у нее интуиция. Стоило тому парню впервые переступить наш порог, сказала: «Энди, берегись!».

Энди инвестировал значительную долю своих денег в рынок акций, а также пополнял свою коллекцию. При содействии нового друга по имени Тед Кэри он заинтересовался американским примитивным искусством.

Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год завершился еще одной очень успешной выставкой в галерее Bodley. Пусть она не получила столько внимания прессы, как *Golden Slippers*, экспозиция *Gold Pictures* была популярна, а *Gold Book*, которую Энди рассылал в качестве рекламного проспекта к Рождеству, тоже была хорошо принята. Только Джону Уоллоуичу стало немного не по себе, когда он осознал, что Энди срисовал все изображения в книге с фотографий Эда, без малейшего его упоминания.

И тут мир Энди пятидесятых чуть не перевернулся. Катастрофа началась открытием первой выставки Джаспера Джонса 20 января 1958 года, через четыре недели после закрытия шоу Энди в Bodley. Всего лишь двадцатисемилетний – на два года младше тогдашнего Энди – мрачноватый Джонс с его повадками «проклятого поэта», глазами-блюдами, весь дерганный за ночь превратился в сенсацию, а его выставка *Flags, Targets and Numbers* прошла с аншлагом. Музей современного искусства купил четыре его картины, что было беспрецедентно в отношении начинающего художника. Несколько значительных коллекционеров и эксцентричный новичок по имени Роберт Скалл (который готов был скупить всю экспозицию) приобрели все остальные, кроме двух.

Джонсу удалось именно то, о чем мечтал Энди. Он появился будто из ниоткуда с выставкой столь мощной, столь противоречивой и столь «качественной» (да при участии любимого объекта Энди, члена), что критикам только и оставалось, что назвать Джонса антипатриотичным из-за изображения им американского флага. Каждая картина содержала в себе ретроспективное рассуждение об искусстве в плане выбора тем, работы с краской и с индивидуальными мазками (плюс к серьезным вопросам, которые Джонс задавал по поводу восприятия людьми искусства, того, что они в принципе полагали искусством). Головокружительное воздействие этой современной классики породило новое движение.

Перемены, которые ворвутся в новаторскую контркультуру шестидесятых, уже бурлили подспудно. Новые художники, вроде Джорджа Сигала, Фрэнка Стеллы и Роя Лихтенштейна едва начали искать собственный путь. Направление поп-арта зародилось в Англии в 1956 году, перекинулось во Францию и стало находить сторонников в Америке. Нью-йоркский мир все еще вертелся вокруг де Кунинга и абстрактных экспрессионистов, но они уже не двигались с той же скоростью, что в начале и середине пятидесятых. Де Кунинг тратил по году на один холст, закрашивая его по новой раз за разом, потому что ему казалось, что не получается. «Безумное было время», – вспоминал фотограф и кинематографист Роберт Франк. Мир искусства еще не превратился в коммерческий, и у большинства художников, по словам одного из них, «жеребий был убогий и волнительный. Мы были против целого мира». «Каждый считал деньги в чужом кармане, – вспоминал еще один. – Царила конкуренция – эго-то были колоссальные – и было много соперничества, но битва была междоусобной, не отравленной средствами массовой информации».

До сих пор в этот мир путь для Энди был закрыт из-за его гомосексуальности и успешности в качестве рекламного художника. Именно поэтому крупный успех первой выставки Джаспера Джонса был невероятно значителен для Энди. Джонс был рекламным художником и работал на того же человека в *Bonwit Teller* (Джина Мура), что и Энди. Джонс был геем. И картины Джонса по своему стилю и содержанию были большим шагом в сторону от абстрактного экспрессионизма. Джонса тут же восприняли всерьез в мире искусства. Раз Джасперу Джонсу,

который на два года младше, удалось, думал Энди, значит, и у меня получится. Вера получила подкрепление два месяца спустя, когда любовник Джонса, Роберт Раушенберг, который также являлся рекламным художником и чьи работы также очевидно подрывали господство абстрактного экспрессионизма, устроил столь же впечатляющее шоу.

Вдруг мир, который казался полностью закрытым для Энди, начал словно раскрываться. Галерея Кастелли, выставившая разом Джонса и Раушенберга, стала местом притяжения, и Энди начал захаживать туда постоянно. Он был как никогда настроен попасть в этот мир.

Между тем у него была серьезная проблема. Последнее, что Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг хотели, – это чтобы кто-нибудь из арт-тусовки узнал, что они геи. В пятидесятые подобные откровения могли стоить им карьеры. Они максимально дистанцировались друг от друга и многочисленных гомосексуальных арт-директоров, у которых работали прежде. Когда Энди подходил к ним на открытиях, они его отшивали. «Он был очень непопулярен среди тех, у кого хотел быть популярным, и весьма страдал от этого, – вспоминал Дэвид Манн. – И мне кажется, это тормозило его работу, но он уже начал-таки свое художественное восстание».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.